

КРУГОМ ЦАРИЛА ЖИЗНЬ И РАДОСТЬ

Повесть о единстве времени и места.

«Счастливого пути!» – это в правое окно, а слева – «Добро пожаловать в Москву». Электричка осторожно выбиралась из сложных переплетений блестящих вариантов прибытия и отбытия гостей и жителей разнеженной июнем столицы. Кому как, а моё на сегодня – «Счастливого пути!».

Утреннее солнышко просекало вагон слишком мажорными полосами, и десятка полтора разрозненных пассажиров вжимались в межоконные тени в надежде додремать воскресное право на отдых. Я тоже, поймав «Rammstein», искренне пытался расслабиться на антикварном фанерном сидении. Но наушники и надвинутый до кончика носа капюшон не создавали достаточной защиты от природного любопытства. Точнее, от любопытства к видам природы, всё активнее вторгавшимся в дачно-коттеджные наросты северо-восточного Подмосковья.

За не особо чистым стеклом затяжные болотистые массивы сизо-чёрного ельника неожиданно расступались в подножиях приплюснутых холмов, импрессионистски рябящих сосенно-берёзовыми или кленово-липовыми гривами. Мелкие изгибистые речушки забавными петлями распахиwały пустынные луговые поймы, дальнюю дымку на горизонте царапали то полосатые трубы, то блестящие колокольни. И вновь мельтешило беспросветно плотное стояние вдольдорожных елей.

Когда же в последний раз я выезжал по этой ветке? Пожалуй, лет десять назад. Точно, в пятом классе! С мамой на дачу к тёте Тане Лобовой, с её двумя препротивными дочками. Будучи чуть постарше, они так рьяно продемонстрировали своё презрение к навязанному родителями моему присутствию, что до сих пор уши тлеют. Наверное, после той травмы детской психики я до сего времени и не находил достаточной мотивации к поездкам в ярославском направлении.

Зато сейчас в тутошних местах меня ждали трепетно, и встречать должны были с обязательным восторгом. Потому что заманивший, зазвавший, затребовавший к себе мою персону Микула всё в своей жизни делал с этим самым восторгом. Думаю – и ел, и пил, и мыл, и брил. И ботинки чистил.

С Микулой – Николаем Повитухиным – мы проодноклассничали одиннадцать лет. Особо никогда не дружили, но, редчайший случай, за все эти годы ни разу не подрались. С самыми близкими друзьями ссорились и счёты воевались, а вот с ним нет. Слишком он был рулезный – разумный и правильный. Почти отличник, чистюля, аккуратист – не зацепишься. И такой какой-то сильный. Не боевой, но сильный – высокий, плечистый, головастый, с тяжёлыми, вечно красными кистями рук. Эдакий богатырь-крестьянин. Отсюда и «ник»: Микула Селянинович, Микула по-обиходному.

Сошлись мы уже через два года после школы. Неожиданно встретились на каком-то поэтико-музыкальном вечере в музее Валерия Брюсова. Понятное дело, я очутился там ради одной милой барышни, с которой у нас нечто только-только наклёвывалось, а вот то, что склонный ранее к точным наукам Микула окажется студентом филфака МГУ, явилось откровением. Но мне тогда очень даже кстати пришёлся друг-литературовед, ибо мой статус в глазах юной поэтессы разом взлетел на несколько пунктов.

Нет, читать я любил всегда, школьную и районную детско-юношескую библиотеки вылистал к одиннадцатому классу практически полностью. И дома родители с книгами дружили. Так что попузырить именами отечественных и зарубежных авторов, с цитатами и биографическими подробностями даже в подготовленной компании я умел. Да и сама та девушка стоила, – ох, стоила! – самого восхищённого обожания. Однако, как потом всё же

выяснилось, будущему инженеру-механику надеяться на равноценность ответного внимания от эфирно гуманитарной особы, для которой ритмы и рифмы были мерилom и скрепами мира, особо не стоило. Эх, а как хотелось! До глупостей.

Ладно. Что было, то было. Но с той неожиданной встречи нас с Микулой, кроме объявившегося вольно-невольного интереса к русской и испанской лирике, завязало ещё и единовременное открытие православной мистики. Кришнаизм и эзотерика сморщились, усохли и испепелились в пламенной феерии новых ощущений и пониманий. Наши дни и ночи стали просто невозможны без пересказчиков Дионисия Ареопагита и Исаака Сирина, толкователей имяславцев Афона и откровений Иоанна Кронштадтского, из Позовской «медитации Древней церкви» и современных апокрифов, приписываемых Герману Аляскинскому.

Не сказать, что мы каждый вечер изливали друг на друга информационные ушаты, но, кроме обмена книгами и инетными ссылками, началось наше регулярное совместное хождение-паломничество по известным особой духовностью храмам Первопрестольной и ближайшего Подмосковья. Точнее, не по храмам, а по священникам. Прослышав о прозорливом батюшке, об учёном протоиерее или пострадавшем за русскость игумене, мы мчались через ночь отстаивать ранние литургии, не дыша внимали проповедям, по знакомству или внаглую прорывались на богословские беседы и собрания, ловя и потом ревниво оценивая пойманные благодатные состояния. И апокалипсические приметы. Мы вычитывали отцов Димитрия Дудко и Василия Фонченкова, слушали Алексея Бачурина и Димитрия Смирнова, встречались с протоиереем Валентином Асмусом и профессором Осиповым, разрывались между учениками афонского иеросхимонаха Рафаила Берестова и островного старца Николая Гурьянова, дебатировали на дьяконовских форумах Кураева, Василика и Шумского.

Как все неофиты-чайники, больше года мы с Микулой упоённо возносились своей продвинутой способностью тонкого чувствования божественного и демонического присутствия – как в мировой истории вообще, так в повседневно-личном быту конкретно. Естественно, порой забурясь в полнейшую чушь. Крутой замес из мистики и политики химически необратимо выкристаллизовался в исповедание теории заговора. И лишь чудом проскочили искус самостийной практики «умного делания». Хотя, опять же, не по какой иной причине, а из соображений сугубо идеологических: в протест против многократного тиражирования самоучителя сердечной молитвы «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» масонским издательством «YMCA-PRESS».

Но прошлой осенью по слабо оправдательным причинам я начал пропускать субботне-воскресные службы, недоказательно отнекиваться от братственных встреч и тематических общений. Микула ответно поскуцнел, посуровел, звонил-эсэмэсничал всё реже и суше, пока не затаился окончательно. Понятно, что он по-дружески ревновал, но что было делать? – меня захватил и закрутил совершенно чумовой, не терпящий никаких иных интересов и привязок роман. С Тиной.

И вот, после почти полугодовой отстранённости, вчерашним вечером прозвучал его зов. Возможно, при другом раскладе, в ином контексте и под сенью не таких забот, я бы не столь уж эмоционально отреагировал на сей звонок, – но! Именно теперь Микулино приглашение посетить его летнее пристанище, оценить трудовые подвиги и вкусить именинного пирога почудилось мне знаком свыше. Потому как не бывает, не должно быть таких случайностей. Ну, что бы в тот самый момент, когда ты совсем скис, сдулся и практически сдался, когда искренне прочувствовал и даже осознал, что значит не иметь верного друга, этот самый друг взял, да и объявился. Ведь Микула единственный – а кто иной? – сейчас бы мог перезагрузить мою зависшую логику. Только он со своим природным оптимизмом и вовремя привитым аккуратизмом был способен на толковый, то есть, совершенно бескорыстный совет как жить дальше. Или, по крайней мере, вернуть

мне утерянную уверенность в конечной мировой справедливости и всевселенской гармонии.

Дело в том, что я, не поступив в Баумановский с первого захода вообще, со второго смог зачислиться только на платное отделение. И, надкусив гранита тамошних знаний, довольно скоро потерял даже призрачную надежду перевестись на бюджет. Чего-то мне не хватало. Или во мне. Мама считала, что кальция, папа – железа. В переносном, конечно, смысле. Худо-бедно, но два курса остались позади, когда дело, которое вроде как касалось сыновних способностей, коснулось и родительских возможностей. Фирма, на которой с горбачёвских времён отец тянул лямку инженера по эксплуатации теплосетей, отдалась бельгийскому инвестору. Начались реструктуризация и массовое сокращение штатов, конечно же, по возрастному принципу. Догадываетесь, что означает искать новую работу в пятьдесят лет? Вот-вот. И надо же, именно в это самое время старший брат наконец-то женился официально, так как через три месяца к нашей фамилии ожидалось прибавление. Заранее обожаемый внук, сын и племянник, судя по толчкам, собирался стать чемпионом по восточным единоборствам. Но, главное, его активность означила, что продолжать жить на даче, где мы скученно, но вполне дружно пребывали до сих пор, далее невозможно. Новоявленной ячейке общества требовалось срочно отпочковываться и возвратиться в нашу городскую квартиру, сдаваемую донине некоему азербайджанскому бизнесмену, и тем самым обеспечивавшую материальную основу нашего всеобщего благополучия. В таком вот дуплете судьбы моя дальнейшая учёба в одном из самых престижных ВУЗов Отечества не виделась никак. Переводиться? Взять на год академический? Или вообще бросить всё на фиг, и податься в брокеры или охранники?.. Короче, под капюшоном наступил полный ступор.

- Стар! Стар! Я здесь!

Как будто можно было не заметить сто с лишним килограмм брызжущей энергией плоти на почти пустой платформе. Микула улыбался младенчески искренне, румяно-конопатыми щеками ужимая в искры-щёлки голубые безресничные глаза, – и разве я мог не оскалиться в ответ? Мы обнялись, разом раздавив все полгода недоразумений и недомолвок.

- Ты чуток припоздал: Модест Александрович, мой директор, полчаса как отъехал в город по начальническим делам. Но, может, оно и к лучшему. Я пока сам тебе всё покажу. Уверю – влюбишься! Такая здесь красотища, такая во всём силища.

Ускоренно шагая по хорошо натопанной тропинке, я счастливо горбился под рюкзаком, принудительно глубоко вдыхая зашлакованными лёгкими обильно стекающий с хвоинок озон. Тянувшаяся из затенённостей старой лесопосадки редкая трава влажно шуршала о джинсы, черня носки кроссовок припрятанными с утра росинками. Слух, обострённый звуковой новизной, жадно ловил хозяйственное гудение шмеля, быстрые пересвисты потревоженных щеглов, далёкую трель дятла. И какую-то детскую-детскую мелодию, высвобождающуюся из-под завалов памяти. А-а-а-а, как же классно, когда тебя приглашают в гости за город! Как кайфно это чувство перехода из внутренней суеты во внешнюю беззаботность.

Впереди скособочившийся Микула тащил огромную сумку с продуктами из станционного магазина. Но при этом умудрялся постоянно крутиться вокруг оси, указывая то на самую старую местную ель, то на недавно разбитую молнией берёзу, то на как-то особо раскоряченный дуб.

- Ты посмотри, какой красный лишайник. Точно кровь по стволу протекла.

Где-то справа в залесной невидимости таился приличных размеров дачный посёлок, за спитой изредка простукивали электрички. И, всё равно, это была почти дикая природа. Дикая, конечно, для Подмосковья.

- Тут в распадке по весне настоящее озеро стоит. С талой водой. Приходится обходить по дороге. А сейчас мы напрямки.

Тропинка межгрязовыми извилинами круто поступенилась вверх. Там, на взгивье поперечного холма, хвойный лес разом остановился, и из-за разрядки мелкой ольхи в глаза ударило распахом широчайшего лугового простора, тонко прорезанного камышовой речкой.

Лица щекотнуло мятным придыханием солнечного ветерка. Мы одновременно с Микулой вскинули навстречу слепящему небу ладони.

- Кругом царила жизнь и радость,

И ветер нёс ржаных полей

Благоухание и сладость

Волною мягкою своей...

Никакой ржи на заливном лугу не могло благоухать и в принципе, но патетично продекламированные Микулой строчки абсолютно улеглись в накатившее настроение.

- Сейчас вправо, вон к тем домикам. Это и есть музей нашего Поэта.

В указанном направлении, на некоторое отстояние вырвавшись за пограничную лесополосу дачного посёлка, ближе к подпруженной речке яблонево-липовым оазисом курчавился прямоугольник усадьбы. Сквозь полупрозрачные кроны, перевешивающиеся через дощатый с кирпичными столбиками забор, чернело три деревянных сруба под теремково остроскатными крышами. Там, в литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике областного значения, Микула уже третий месяц трудился сторожем, дворником и разнорабочим, с проживанием, питанием и консультированием по будущему диплому.

Около неприятно новых, – временных, как объяснили, – металлических зелёно-рифлёных ворот скромно серело трёхметровое деревянное распятие: «Место бывшего семейного храма. Рождества Иоанна Предтечи». Я перекрестился вслед за Микулой и заскользнул за приотворенную створу.

Делящая усадьбу пополам чёрная колоннада старых лип вела в никуда. Точнее, узкая пятидесятиметровая аллея упиралась в какой-то поросший аптечной ромашкой и облысевшими одуванчиками пустырь, нисколько не украшаемый десятком тощих кустиков роз: «Главное усадебное здание разобрали ещё в начале тридцатых. На кирпичи для кирпичного завода». Зато вымощенные бетонными плитками свороты боковых дорожек приглашали к трём старым, но великолепно ухоженным бревенчатым флигелям, кокетливо прикрывающим усеянными мелкими завязями яблонями умильное смешение антики и русскости. Справа – длинный домище, в десяток больших, в частом переплетении, окон, с барственным псевдоклассическим портиком-крыльцом. И два домика по левой стороне – поменьше и поскромнее.

- В главном размещается собственно музей. Логично, ведь в нём как раз любил жить и творить Поэт. Абсолютно в сохранности остался его кабинет, спальня, охотничья комната. А в том доме, что почти напротив, живёт Модест Александрович, наш директор. Там же методкабинет, бухгалтерия и всё прочее конторско-бюрократическое.

Прошагав в самый дальний угол усадебного комплекса, мы остановились перед резным крыльцом ещё одного вместительного пятистенка с узорчатыми ставнями и мезонином. Но вокруг этого, совсем уж пряничного терема всё было подчинено прозаично хозяйственным нуждам. Позади, под навесом вдоль ограды, в изобилии вылёживались самые различные пиломатериалы, направо брусовой сарай-подсобка соседствовал с серо оштукатуренным банно-прачечным комплексом. Слева за кустами сирени таились тентованный грузовичок и вишнёвая «нива», матово белела запотевшей плёнкой теплица.

Микула поднялся по ступенькам и, со стоном пристукнув сумкой прямо посреди крыльца, надавил плечом на обитую коваными полосами дверь:

- Здесь земное пристанище вселенски свободного философа-киника Хомя Брута. Ну, и реставрационная мастерская, она же наша кают-компания. Надо всем моя поднебесная конурка. В которую и приглашаю с почестями и надеждой на снисхождение к неприятельности быта.

Прихожей не было – мы сразу очутились в большой, с четырьмя окнами на две стороны, комнате, которая, действительно, представляла собой симбиоз из мастерской для самых различных ремонтно-реставрационных работ и кухни-столовой. Вдоль трёх стен тянулся сплошной верстак, заваленный инструментами, бумагами, букетами засохших дудников и камышей, полуразобранной электроникой, кистями и банками. Зато длинный овальный стол посередине комнаты был девственно чист. В самом светлом углу, рядом с иконами, с потолка свисали две клетки с затаившимися при нашем появлении канарейками. Пахло лаком, птицами и пригоревшей кашей.

Напротив входа высокая, выложенная изразцами «голландская» полукруглая печь разделяла оббитую вагонкой стену-выгородку с двумя разноразмерными дверями. Микула указал на широкую правую, и тут же приложил палец к оттопыренным губам:

- Тсс... Предполуденный отдых фавна. Или сатира. Нет, точнее тогда пана. Пана Хома. Страшно и подумать, что будет, если прервём.

Мы прокрались сквозь зачем-то выстроенный в этом углу лабиринт из стульев и табуретов к легко распахнувшейся двери, за которой начинался крутейший подъём в мансарду. Но лишь только под Микулой закрипели первые ступеньки, как за моей спиной прозвучал хриловатый тенорок:

- А не стыдно некоторым гражданам незалежной России вводить в заблуждение своих товарищей насчёт склочного характера соседа и коллеги?

В проёме очертился контур невысокого худого человечка в светло-серых трико и камуфляжной майке. Ершисто стриженного, со смешно топырящимися почти круглыми ушами.

- Хома Брут. По паспорту Богдан Фомич Карачун. – Человечек неспешно протянул руку, крепко сжав мои пальцы. – Но это для фискальных органов. В частном же общении предпочитаю имя не регистрационное, а инициационное.

- Вадим. Староверхов. – Я почему-то чуть ли не с трепетом заглядывался в контур, пытаюсь наскоро определить хотя бы примерный возраст нового знакомого. Однако лишь после, на свету, разглядел множество тонких морщин, тяжёлые вены на сухо-мускулистых руках, седину, равномерно осевшую всю голову. И понял, что Хоме никак не менее сорока пяти.

Микула, раскладывая принесённую им снедь по тумбочкам и холодильным отделениям, оправдательно бурчал, что, мол, мы хотели как лучше, чтобы не разбудить, это ступени предатели. А так-то патруль боевых слонов проскочил бы зону законного покоя соседа и коллеги совершенно незамеченным.

Мы же с Богданом Фомичом вышли на крылечко покурить его «парламент».

Жидковатые кроны антоновок живым кружевом притеняли звонкую голубизну полудня, в остролистой траве наперебой зудели кузнечики, над раскалёнными перилами, с любопытством разглядывая нас, зависали цветочные мухи. Да, «кругом царила жизнь и радость»...

- Почему, спросите, «Хома Брут»? – Огромные, узко ожимающие крючковатый нос серые глаза на солнечную восторженность природы ответной радостью не светились. – Да потому, что в результате собственных размышлений по поводу некоторых фактов из личной жизни и по совету классика очертил вокруг себя мысленную круговую черту с заклинательной молитвой. И за черту эту теперь ни одной панночке-ведьмочке входу нет.

- Он уже четыре раза женился. – На секунду в дверной щели блеснула злорадная ухмылка Микулы. – Но всё неудачно. Потому-то философ.

- Любомудр-славянофил. Хотя через Ницше и унаследовал отдельные постулаты школы киников. А вы, молодой человек, тоже из студентов будете?

- Да. Вроде того.

- И на какой, если не секрет, ниве собираетесь процвести?

- Совсем не гуманитарной. Электроника.

- Вы как будто извиняетесь? Напрасно, своими лучшими представителями физика давным-давно уже диффузировала в лирику. Только отчего-то этот процесс односторонен. Лирика на физику не влияет ни-как.

- Ну, неправда ваша! Разве творчество не вездесуще? Что же тогда, так сказать, неслучайные открытия?

- Я ж, молодой человек, не о сбывающихся прогнозах. Нет, я о способах подхода к ним, о двух принципах мышления. О системном, требующем базового образования и оперирующим уже свершившимися фактами, и об интуитивном, живущем чувственной сенсорикой ещё лишь происходящих, а то и едва назревающих процессов. Улавливаете разницу между анатомом и физиологом? Первый, системный рационалист, способен анализировать только произошедшее, состоявшееся, лишь на основе статистики просчитывая возможные варианты направления развития событий. А второй, сенсорик, в реальном времени ощущает динамику токов настоящего и медиумично-интуитивно предсказывает их будущее.

- Всё, пане Брут! Кончайте своей пургой моему другу крышу сдвигать. – Заполнивший крылечное пространство распахнуто-воздетыми ручищами Микула с львиным позёвыванием потянулся. – Фасоль на ужин я замочил, мясо из морозилки вынул, и требую заслуженной свободы.

- Вы, гражданин, своей нецарскосельской непосредственностью позорите звание Вадимового друга. – Хома Брут вдавил окуроч в фарфоровую, в виде утерявшего голову лебедя, пепельницу. – А, главное, лишаете нашу приятную беседу полезного завершения. Оставалось-то лишь обсудить необъяснимую секуляризированной наукой стабильность превалирования продуктивности результатов интуитивных предсказаний в сравнении с результатами прогнозов на основании усредняющих расчётов.

- Пан Хома, даже не надейтесь понудить меня возжелать вашей смерти. – Лёгким шлепком Микула толкнул меня со ступенек. – Вам необходимо продолжать жить, хотя бы для того, чтобы уголовный мир не пополнялся молодой сменой.

Я спиной прочувствовал, с какой яростью Богдан Фомич рванул за собой тугую дверь. А когда обернулся на хлопок, то увидел лишь качнувшуюся струйку дыма над пепельницей.

- Он чего?

- Приходится иногда на место ставить. – Микула тоже не улыбался. – Забывается. А ведь для того, чтобы учить и лечить, надо, прежде всего, самому не страдать и не зависеть.

- Не понял.

- Поймёшь. А пока доверься и расслабься. Релаксируй.

Прошагав по территории музейной усадьбы знакомо возвратным путём, мы вышли за ворота и свернули к реке. Через сотню метров торная дорога предательски увильнула направо, а тропинка под нашими ногами тут же жирно заблестела, а затем и зачавкала синеватой глиной. В моих кроссовках похолодало. Вдобавок из жёсткой, царапающей осоки вылетело несколько гундосых комариков.

- Ты куда меня тащишь?

- Ерунда. Это после вчерашнего дождика. А так-то тут крепко. Потерпи, ох, сейчас и картинку увидишь!

- Ага, помню: красотища и силища. А ещё я обязательно влюблюсь.

Камышовый занавес с шуршанием прираздвинулся, и ... Микуле всё простилось.

Тёмный фиолет вытянутого овалом пруда от бледной голубизны неба отделялся рамой изумрудной осоки. Загустевшую водную сонливость то и дело протяжно просекали вихрящиеся ветерки, но наскоро осеребрявшие поверхность полосы ряби тут же бесследно растворялись, не нарушая глубинного покоя. Пара чаек белыми мазками сияла у дальнего, с крохотным, явно искусственным пляжиком, берега. А насыщенное запахом

сохнувшей тины поднебесье короткими чёрными штришками резали звонко пикирующие стрижи.

- Каков пейзаж? А? А!

Прямо из-под ног в воду нисходили хлипкие мостки, вокруг опор которых искрились подгоняемые хищником мальки. Стайка серых водомерок осторожно начала в тени. Под спутавшимися листьями осоки потрескивали крылышками заблудившиеся стрекозки.

- Ты прав.

- И всё?! – Кажется, Микула чуток даже приобиделся.

- Ты тысячу раз прав! Миллион раз. Миллиард. И более.

- То-то, дитя асфальта. А направо дамба с плотиной.

Я посмотрел в указанном направлении. Заросшая мать-и-мачехой дамба под вереницей старых, породнившихся кронами тополей, полукружьем замыкала пруд, упираясь в бетонный заслон-мосток с двумя кубическими башенками, придавленными тяжёлыми копнами плакучих ив.

- Пойдём, там постоим. Обожаю смотреть на переливающуюся через край воду.

Узкой рыбацкой тропкой мы согласно молча продвигались к запруде, то и дело глубоко вздыхая каждый о своём, нежно девичьем. И я опять поймал тот тихий восторг, что испытал в лесу – чувство опьянения исходом из внутренней суеты во вневременную беззаботность.

Неожиданно из потревоженного нами подбрежного укрытия на глубину выплыла сердито кричащая тонкошея утка с эскортом из четырёх умильно крохотных пестренят. Микула не выдержал:

- Ну, признавайся, братанелло, красота? А?! – Бог свидетель, он сам нарывался на подкол.

- Красота-то, оно, конечно, красота. Но есть здесь какая-то недосказанность, какая-то нехватка. Вроде как дорогая, узорная оправка, но без драгоценного камня. Топаза. Или, хотя бы берилла. Не знаю, сам скажи – вот чего мне здесь как-то недостаёт?

Микула заозерался. А я наседаю:

- Бирюзы? Аквамарина? Агата? Сердолика? – Какое ж это удовольствие, – и ведь почти забытое! – дразниться. Оторопевший, было, Микула, наконец, встряхнулся:

- А чего ты алмазы и изумруды обходишь? Что, или оправка... мельхиоровая?

- Ты опять прав! Алмазы, действительно, Канар требуют, Мальдив или островов Большого рифа. К изумрудам и рубинам пышность, преизбыточность нужна! А наша-то среднерусская полоска более как на бирюзу или яшму не потянет. Тут вокруг скромность, ситец берёзовый. Ржа с овсюком. Шушун затрапезный, сарафан из лопушка и старушка с кружкой. Какие здесь алмазы, если стон этот песней зовётся?

- Нет, зря я некоторых неблагодарных от Хомы спасал. Пусть бы он их своими любомудрованиями запылял.

Плотина, похоже, не ремонтировалась с брежневских времён. А местные варвары даже бетон сумели обдолбить, а не то, что металлические части вырвать. Но именно эта аварийная запущенность, вкупе с театральным плачем-шёпотом старых ив, меня и добила. Я окончательно расстыковался с Москвой, с её ступорами и непонятками. Я просто-напросто стоял и просто-напросто смотрел, как подпруженная вода, не надеясь пробиться через давно засоренные трубы, переливалась через край заслона притонированным живым стеклом водопада, смотрел как, нажурчавшись и напенившись, заилёнными извивами успокоено утекала она в заросли корявеньких ольхинок. Просто стоял и просто смотрел.

- Конечно за вами! Петрович самовар приготовил. Он же и сказал, что вы на пруд пошли.

Я обернулся на колокольчиковый голосок. Из-за плеча отчего-то засутулившегося Микулы выглядывала светловолосая и бледноликая девушка-девочка. В белом, часто наборенном платье-сарафанчике. Длинненькая. Тощенькая. Какая-то полупрозрачная.

Мне на миг даже страшно стало: ну, кто ж эту снегурку на солнце-то выпустил? Дотаает ведь окончательно.

- Надя, познакомься, это Стар. Стар, это Надя.

- Польщён, мадмуазель. Но, вообще-то, Вадим. – Я мотнул головой в полупоклоне, а вот щёлкнуть пятками кроссовок не получилось.

- Я знаю. «Стар» – это от фамилии Староверхов, со школы осталось. – Нет, при всей дохлости, она была вполне миленькой. А когда улыбалась, то забавно, как маленький ребёнок в смущении, отводила глаза вниз и в сторону. – Коля много о вас рассказывал.

- А про вас, сударыня, Микула таил. – Ага, как он на «Микулу» дёрнулся.

- Эй, друзья мои! Я понимаю, что природа и место располагают к возвышенному, изысканному и манерному, но перестаньте меня унижать. – Микула бочком втиснулся меж нами. – Пусть я и кухаркин сын, но... всё равно согласен прервать променад, дабы отпить чаю-с. С круасанами-с. И монпансьё-с. Эх, заразили гламурностью! Пропащий я, пропащий! Как легко поддаюсь влиянию среды и улицы. Нет уж, останусь собой – буду швырять с бубликами и леденцами вприкуску! Хотя, почему вприкуску, а не вприсоску?..

Микула фейерверил не особо смешными каламбурами, наскоро созидая атмосферу ровесничества. Ну, кто из жалости, кто из товарищества, а так и быть, к усадьбе все мы подошли согласно на «ты» и в болтовне о самом приземлённом. О том, что полезнее: одноразовая лапша «доширак» или кукурузные чипсы «ромми»? Надя, при дальнейшем рассмотрении, уже не казалась тающей неизлечимо. Конечно, килограммов пять-семь, – при росточке под сто восемьдесят, – её только бы украсили, но Надина физическая полупрозрачность происходила от врождённой конституции, а не от приобретённой дистрофии. И уж точно не в результате глобального потепления: она звонко и даже заливисто смеялась, чего снегурки, как известно, не умеют.

Чай предлагался в беседке за домом директора. Ох, забыл сказать, что Надя была дочерью этого самого директора, Модеста Александровича Фёдорова-Давыдова. Который уехал в ближний город на районный праздник, в надежде что-то там попросить и в чём-то пооправдываться перед начальством над местной культурой.

- Тсс, прошу вас, потише! А то Хома Брут появится. Он уже успел Стара отведать, и явно намерен доесть окончательно. Обожает свежатину.

- А чем ты его зацепил? Чего он вдруг дёрнулся? – На мой вопрос Надя удивлённо встревожено вскинулась на Микулу. Тот недобро зыркнул на меня и потупился:

- Да так, местные темы. Мы же договорились, что потом объясню. Тебе кружку какого размера? И с каким рисунком?

Кипяток разливали – а как в дворянском гнезде иначе? – из дореволюционного самовара с медалями. Запариваемый в огромном красном заварнике зелёный, с цветками малины и базиликом, чай благоухал в окружении розеток с вареньями и блюдец с печеньем и рулетиками. Рядом в железной баночке плавилась те самые монпансьё. Для прикуски. Или присоски.

Я нецеремонно оглядывался. Беседка круглая, в восемь колонн-столбов, со скамьями у стен, с реечными стенками-плетёнками, по которым взбирались готовящиеся к цветению вьюнки. Посредине круглый же большой стол, над которым с потолочного свода нависала жёлтая медуза тканевого, с бахромой, абажура. Белокрашенный деревянный сталинский амбир в местно-топорной версии давно полагалось снести, дабы не портил музейную чистоту усадьбы девятнадцатого века. Но беседка так хорошо спряталась за административным флигелем в зарослях сирени, так уютно и плодотворно функционировала, что ни у кого из трёх сменившихся за последние шестьдесят лет директоров рука на неё не поднялась.

- Стар, ты не стесняйся, спрашивай. Надя, как и полагается настоящей дочери настоящего директора, работает и смотрителем, и экскурсоводом. – Микула для полноты

антуража схлёбывал с непонятно как удерживаемого тремя пальцами блюдечка. – Любые ответы на любые вопросы.

Он немного перебирал в демонстрации простоты, теплоты и крепости своих с Надей отношений. Я же сам с глазами, в многократных повторениях не нуждаюсь, хоть и троечник. Поэтому опять не удержался:

- Надя, а покажешь мне музей? Завтра? Только одному, без посредников? Микула, ты чего? Я ж про Ломоносовские словесные штили: ну, про то, что хоть и пользуюсь сам в обиходе низким, но и высокий сшить полне понимаю самостоятельно.

- Конечно. В первой половине дня удобно?

Микула зыркнул опять, но теперь не гневно, а обиженно. И я его пожалел:

- А сейчас можно мне что-либо узнать о Поэте? Предварительно, приамбульно, для совсем-совсем чайников. Представителей, так сказать, зашедшего в гуманитарный тупик и культурный вакуум технико-практического прогресса.

А ведь кроме кайфа от подколов, нисколько не меньше удовольствия получаешь и от выражений товарищеской благодарности. Заискивающим взглядом и подливанием заварки.

- ...наш Поэт родился в Москве. – Надя пальцем указала направление на столицу. – Шла весна двадцать первого года, древняя русская столица уже восполнилась новыми застройками на наполеоновских пепелищах, вернула былой достаток и продолжала хорошеть. Апрель загнал остатки почерневших сугробов в огороды, под сеновалы, за конюшенные сараи и бани, мостовые и деревянные тротуары обсохли и приятно постукивали под каблуками. Весна! Грачиные стаи шумно осваивали берёзовые окраины, а в центре, напротив Кремля, река, избавившись ото льда, как всегда у нас, неожиданно подтопила склады и амбары. Что там молодёжь! Взрослые и даже старики, скинув тяжёлые шубы, семьями по поводу и без оного прохаживались от храмов до рынков, улыбками и приветствиями нарушая великопостную скоромность. Весна! Да сама жизнь древней столицы уже несколько лет воспринималась москвичами как весна всей Империи, как пробуждение после тяжёлой, затяжной зимы запретов и гонений на всё русское. Россия в своём сердце – в очищенной огнём и возрождённой патриотизмом, приуготовлялась к национальному возрождению.

Именно московское общество, столь болезненно поплатившееся за увлечённость либерализмом и космополитизмом, своими лучшими, передовыми умами начинало поиск Отечеству будущего уже не во французском просвещенстве и английских экономиках, а в корнях славянства, в основах великоросского характера, в древних заветах наследного Православия. Дух творческого созидания переполнял всё и всех.

Что говорили взрослые, не могло не впечатляться в сознание ребёнка. Православно русская точка зрения навсегда стала для Поэта исходной при оценке всего происходящего в политике или экономике, управлении или культуре. Благодаря вовремя впитанной мудрости отца и его друзей, Поэт сумел пройти через всю свою жизнь в совершенной самобытности, не завися от сезонной моды и сиюминутных веяний:

Мы выросли в суровой школе,

В преданьях рыцарских веков,

И зрели разумом и волей

Среди лишений и трудов...

- Ага, вот и Модест Александрович! – Микула, вскочив на скамью, вытянулся, и, раскачиваясь, выглядывал что-то или кого-то сквозь сирень. – С ним Антон Витальевич... И этот, Малкин. Ну, правильно, воскресенье – время великих карточных битв. А сколько с ними пакетов!

- Папа! – Надя, только что великолепно игравшая роль эрудита-экскурсовода, мгновенно обратилась в ребёнка. Убегающего ребёнка. – Папа, я к тебе на помощь!

Мы последовали за ней. Микула бодренько, а я чего-то не очень.

Из багажника припылённого тойотовского паркетника на крыльцо выгружали пачки плоских тонких книжек, скорее всего, альбомов или календарей. Правильнее сказать, когда мы подошли, всё уже выгрузили, и Микуле досталось лишь извинительно прихлопнуть дверку.

Три мужчины являли собой «новое прочтение», то есть, пародирование картины Виктора Васнецова «Богатырская застава». Слева, на месте Алёши Поповича, стоял Надин отец и директор музея. С коротко стриженной белой головой – толи сплошь седой, толи сильно блондинистой, среднего роста, спортивно-сухой, с ясной, но холодноватой улыбкой.

- Модест Александрович, разрешите: это мой друг Стар. Прошу прощения, Вадим Староверхов. Помните, мы договаривались?

- Конечно, помню. Здравствуйте, молодой человек. – На среднем пальце блеснул белый перстень с чёрным квадратным камнем.

- Здравствуйте. – После пожатия небольшой, но крепкой ладошки, я подержался за огромную, водянисто вялую. – Здравствуйте. Вадим.

- Сахаров. Антон Витальевич. – Обильно потеющий гигантский пингвин в мятом, соломенного цвета льняном костюме со стоном втиснулся в узкий тенёк под стенкой. Бесхозно дремавшее плетёное кресло протестующе скрипнуло.

От «Ильи Муромца» я перешёл к «Никитичу». Только «Никитичу». Так как этого абсолютно лысого, крупноморщинистого грифа в больших чёрных очках «Добрыней» язык называть отказывался. Один розовый галстук чего стоил. Уж никак не меньше сотни баксов.

- Вадим.

- Малкин Аркадий Борисович. Замначальника департамента образования, культуры и молодёжной политики.

«Богатыри», после недолгого обмена лишь им понятными междометиями, важно подались в глубь хозяйских покоев, а мы с Микулой под немудрёным руководством Нади перетаскали книжные пачки с крыльца в уже заваленный под потолок типографской продукцией чулан. После чего на веранде подвисла какая-то неловкая пауза. То есть, Микула что-то тихо наговаривал Наде, она ответно поддакивала, но оба всё время как-то поворачиваясь ко мне спиной, так что не догадаться о своей ненужности в их ближайшем будущем было невозможно.

Под предлогом закупки курува я вышагивал по лесной тропинке к станции. Сосняк опять облеплял хвойным духом и задаривал птичьими переключками. Хотя по второму слою взгляд подмечал в траве уже и неромантические мелочи – пакеты, банки из-под пива и прочую неизбежность людского бытия. Но, всё равно, после Третьего кольца местная жизнь изливала такие «благоухание и сладость», что от перенасыщения ими я то и дело немного подпрыгивал. С прямым выбросом-ударом носка стопы. Ну, таким начинающим козликом-каратистом – тоби-кон с кикомэ.

У дверей загнутаго подковой магазина кучковались молодые кавказцы. Отметив моё появление презрительно ленивым полуповоротом глаз из-под начёсанных на брови чёлок, они по-хозяйски громко продолжили межсобойный базар. Отчего горцы не умеют говорить нормально? Вечно орут, особенно когда по телефону.

Толстая продавщица переспрашивала всех тоже с тяжёлым акцентом. Оглядывая стандартные пиво-закусочные витрины, неспешно дождался очереди. Заплатив за блок «лайма» и литровую банку «туборга», двинулся, было, на выход, но дорогу преградили подросток и крохотная девчущечка: «Дяденька, вы на хлеб не дадите?»

На одинаково белобрысых детях оранжевели одинаково расписанные, новые, но грязные майки, из-под бриджиков торчали тощенькие ножонки, обутые в одинаковые же синие сланцы: «Ради Христа». Полусотню отдавать было жалко, а мелочи наскребалось всего рубля четыре.

- Вам точно хлеба? Какого хочешь?

- Всё равно. Какого не жалко.— Мальчишке лет тринадцать, но светлые глаза какие-то неблестючие, совсем стариковские. Но на жалость не давящие.

Я спросил нарезной батон и пакет «Весёлого молочника».

- Зачём этим пакуетэ? Они тут папрашайки, а мама там пьёт-гуляет. — Толстуха навалилась на прилавок поражающим воображение бюстом. — Гдэ ваша мама? Почему не работает, вас нэ кормит?

Мальчишка, прижав к груди хлеб и молоко, подтолкнул заглядевшуюся в ящик с мороженым девчоночку бедром: «Пошли. Быстрее, ты!».

- Варавать хотите? Милицию пазвать нада! Папрашайки, в дэддом вас нада.

Я поспешил выскользнуть в одни двери с ребяташками. Хотелось сказать им что-то человеческое, смыть, смазать обидные визги торговли. Однако на улице они сразу повернули и посеменили-пошлѐпали в противоположную моему пути сторону. Проследив как двое мелких грязнуль, и без моих утешений весело щебеча, пересекли заставленную такси площадку перед автобусной остановкой, я уже, было, собрался топать восвояси, когда заметил Богдана Фомича. Он, полубегом проскочив остановку, нагнал «моих» ребяташек и начал, жестикулируя, что-то им выговаривать. Но девчушка повисла, закачалась у него на руке, и в чём-то примирившись, они втроём дружно скрылись за свежо белеющим монументом Воину-победителю.

- Мабилу купишь?

Самый молодой из стоявших передо мной хачей держал на ладони раскладушку «самсунга».

- Спасибо, нет.

- Савсэм новый.

- Спасибо. — Пришлось чуть коснуться его плечом. Но в таких случаях идти надо только прямо, не отклоняясь ни на дюйм. И до самой лесополосы шагать неспешно, чуть вразвалочку, с любопытством оглядывая железнодорожную насыпь.

Толкнув тугую дверь, я бочком втиснулся в реставрационную мастерскую: «Ау! Есть кто живой»? Вежливо подождал, повторил. И с облегчением понял, что живой тут только сам. Ну, не считая насторожённо затаившихся канареек.

Птахи, пристрастно оглядев меня, принялись обсуждать. Я невольно заглянул в небольшое зеркало в междуоконьи: что их так возбудило? Спасибо родителям — рост приличный, фигура легкоатлетическая. Круглая русая голова свежо острижена «под две насадки». Умел бы кривляться, в артисты бы пошёл.

Под зеркалом внушительным чёрным эбонитовым кубом с закругленными гранями стоял радиоприёмник, наверное, времён Второй мировой. Затянутая чёрной же тканью передняя часть поблескивала косыми латунными буквами, круглым стеклянным оконцем-циферблатом и двумя, прилепившимися явно из других времён, белопластмассовыми рукоятками.

«Folkmelodik» — похоже, и в правду трофейный. И чего? Неужто рабочий? Так, поди ж, ещё на родных фашистских лампах? Вот кульно!

Осторожно повернул левую рукоять. За лёгким щелчком в окошечке неспешно разгорелся зелёный огонёчек. По кругу вместо цифр в несколько рядов разворачивались названия городов. Почти как часовая, стрелка настройки радиоволн указывала на «Vena». Повернул регулятор звука ещё на пол-оборота. Внутри ящика зашуршало, запотрескивало. А потом сквозь шипение и высвистывание продавился раздражённый старческий голос, внятно произнесший:

- Есть комнаты, в которые не входят без приглашения. Есть бремена, которые не принимают самовольно. Есть тайны, в которые не стоит проникать даже случайно.

И опять лишь треск и посвистывание.

Рюкзак терпеливо ожидал под лестницей. Проскрипев четырнадцать раз, я упёрся в синекрашенную косую дверку с наколотым плакатом-поучением из папамаминой юности: «Любите книгу – источник знаний. Максим Горький».

- Согласен, дорогой товарищ Алексей Пешков. Абсолютно с вами согласен.

Мансардная комнатка, в которой в ближайшие дни и ночи мне предстояло тесно соседствовать с Микулой, походила на исторический кабинет нашей военной кафедры. Копейщики, арбалетчики, стрельцы, казаки, мушкетёры, кирасиры, гусары, егеря, сапёры, канониры, жандармы, таможенники, лётчики, моряки и Бог весть кто ещё разнообразно и разноцветно красовались по стенам. Гравюры, открытки, вырезки из журналов составляли сплошные лоскутные ковры-обои. На подпиравшем подоконник широком самодельном столе ноутбук едва втиснулся в навалы книг и журналов. Особыми стопками дыбились «Цейхгауз», «Солдат удачи», «Братишка» и иные, тоже милитаристские издания. Вместо штор полукруглое окно прикрывали подбóренные военные стяги – крестово-андреевский и звёздно-красноармейский. С обеих сторон стол обжимали железные, явно из каких-то музейных запасников, кровати с блестящими никелем шишечками на высоких спинках. Так как на правой, поверх крупнотканного бежевого пледа, разлеглась свежевыглаженная рубашка, то я присел, – или просел? – на левую. Притулившийся возле входа тоже артефактный шкафчик, судя по несмыкающимся дверкам, вряд ли мог принять хоть что-то из моих вещей. Посему, достав зарядник, станок, пасту и прочие гигиенические принадлежности, я подпихнул рюкзак под нерадостно комментировавшую мои телодвижения кровать. А потом, не разуваясь, обессилено вдруг взял, да и припал-протянулся по диагонали.

Заоконное небо предвечерне сытилось синевой. Прокалённый до обжигающей сухоты чердачный воздух возводил восприятие смеси запахов железа, дерева, бумаги и пыли до лёгких галлюцинаций. Под прикрытыми веками легко представлялась какая-нибудь неоткрытая египетская гробница. И звуки тоже разрастались фантастически. Гулявшие по крыше голуби то громыхали камнепадом, то трубили боевыми слонами. А дотягивающиеся до оконных стёкол веточки скрежетали когтями солнечных вурдалаков. Если таковые существуют. Хотя есть же «бес полуденный». Ответно в сухотном черепе вспыхивали разноликие страхи и тут же гасли осознанием невероятности. И я плыл, кружа и покачиваясь, плыл по тонкой грани различия яви и видений. Но, притом, продолжал разбирать впечатления от местных ландшафтов и их насельников. Разбирать и логизировать.

...Забавно, но внешне Микула и Надя совершенно не пара. Со-вер-шен-но. Но. Но это только внешне. Ведь утверждают же психологи, что для стабильности создаваемых пар кандидаты и должны дополнять друг друга самыми противоположными свойствами и качествами. Типа: лёд и пламень, вода и камень.... Инь-ян... Она очень трогательна в этой своей немного затянувшейся детскости. Беззащитно-открытая. Глазищами хлоп-хлоп. Синими. И косточки тонюсенькие. А, в то же время, лекцию о царях и декабристах отчитала тоном настоящего доцента.... И опять стала девчонкой. Так что, Микула ей просто необходим. Своей медвежьей грацией. Разумной правильностью. Неагрессивной силой.... Знать, всё-таки ж можно, точнее, даже нужно сопрягать и запрягать вола и трепетную лань... Стоп: а вола или коня? Или бегемота? Гиппо-потам. Что, кстати, и означает «водяной конь». Значит, всё же коня... да, логично... логизированно.... А ещё... есть комнаты, в которые... без приглашения... и тайны, в которые....

- Дрыхнешь?

- А?!

- Мы тебя потеряли. Пока дошло, что ты мог здесь спрятаться.

- А?... – Я сел, ошалело разглядывая переодевавшегося из майки в рубашку Микулу.

- Не надо засыпать под вечер, голова треснет. Ты плавки прихватил?

- Не в тему. Мне б срочно наникотиниться. И чайку покрепче.

- Так не сейчас же, а с утречка на пруд сбегает. А пока промаргивайся, и айда на званый ужин. Голоден?
- Голоден. Всегда и во всём. А чего тут всё у тебя такое ... военное?
- Тема моего диплома – солдатские песни девятнадцатого века. Конкретно времён царствований Николая Первого и Александра Второго.
- Тогда вменяемо. А то я даже чуток занервничал.

Гостиная напоминала декорацию к пьесам Гоголя или Островского. Ну, ладно-ладно, раннего Чехова. Такого обилия предметов старше себя лет на двести в простом человеческом быту я ни разу не видел. От резного, инкрустированного перламутром и увешенного подсвечниками фортепьяно до серебряных крестообразных подставочек к вилкам-ложкам. Через резные же трюмо, буфет, через важные кресла и вальяжные канопе, через среднерусские и венецианские пейзажи, дагерротипы и фарфоровые миниатюры. Посередине, под двухъярусной люстрой бронзового литья, благоухал свежей выпечкой плотно сервированный, огромный круглый стол. Огороженный высокими спинками семи стульев.

- Потерпите чуток, пусть уха зеленью насытится. Поскучайте. – Мне показалось, что встретившая нас в красно-цветастом фартуке Надя, подрозовавши от плиты и хлопот, за эти несколько часов повзрослела и окончательно похорошела. Одновременно глубоко вздохнув, мы с Микулой послушно опустили в жёсткие кресла.

В уголке меж полукруглой печью и пальмой, над зелёным, засыпанным картами сукном плотно сгрудились хозяин и его гости. Кроме уже знакомых мужчин, спиной к нам сидела полная седая дама, покрытая по плечам чёрным кружевным шарфом. Нашего появления погружённые в игральную страсть не заметили.

- О, и Жанна Олеговна пришла. Голицына, между прочим. – Прошептал Микула.
- Из «тех»?
- Вроде как. У неё здесь коттедж, а вообще-то она галерею в Камергерском держит. Прикинь, как круто.
- Значит не из тех. Самозванка.
- Тихо ты! Услышат же....

Я в отчаянии закатил глаза и ужал губы в скорбную куриную гузку. Но Микула моего лицедейства не замечал.

- Модест Александрович сторонник изначального, классического варианта виста. – Совсем уже неслышно шипел он. – Это старинная чисто английская игра, сейчас в Европе её заменил вульгарный винт.

Мне, собственно, плевать на карты в частности, и на все игры в принципе, пусть себе люди тешатся, кто чем может. А вот подобострастие, с которым Микула каждый раз произносил «Модест Александрович», несколько озадачивало. Как-то раньше за ним сотворения кумиров не замечалось. Более того, иной раз у него и церковные авторитеты подвергались крутой ревизии. А тут такое.... Неужели, в самом деле? Ах, Наденька, ах!

Я демонстративно погрузился в рассмотрение висевшей над нами, стиснутой толстенным багетом и замутнённой старым стеклом акварельной миниатюры. Сухонький, белобородый старичок в сером мешкообразном плаще и широкополой шляпе осторожно вёл под руку девочку-подростка в светлой накидке и с маленьким, почти игрушечным зонтиком. Они шли, чуть склонив друг к другу головы и, кажется, над чём-то смеялись. Но Микула не отставал:

- Внешними правилами вист проще винта. Однако, именно за счёт этого и повышается процент удачи в отношении к расчётливости. Вист азартнее, это совершенно особое смещение страсти и внимания, смесь эмоций и наблюдения...

- Да-да-да, коктейль из драйва с бизнесом! – Я встал и, руководствуясь обонянием, направился на поиски кухни. Ну никакой тактичности больше не хватало, чтобы и далее

свидетельствовать моральное падение друга: «Модест Александрыч считает», «Модест Александрыч думает»... Брр...

- А ты можешь доверить мне какое-нибудь ответственное дело? Порезать, там, порубить чего? – Надя, сосредоточенно раскладывая кружочки лимона вокруг филе сёмги, на мой голос чуток даже вздрогнула. Потом знакомо отвела глаза вниз и в сторону. Действительно, смущается как маленький ребёнок. – Например, я умею чистить лук, варить крутые яйца и даже пробовать лапшу на соль.

- Да всё уже готово.

- Ну, хотя б позволь газ выключить! Скучно мне и неловко бездельничать. А ещё от чувства своей бесполезности я становлюсь недобрым. Занозистым. Кусачим. И ... и грызучим. Не веришь, спроси у Микулы, он ещё в школе настрадался. Так что, пожалей его шкурку и озаботь меня чем-нибудь.

- Тогда неси супницу.

Мда, напрялся! Только что иных винил в лакействе, а вот теперь сам появился в гостиной с церемонно перекинутым через руку полотенцем. Фарфоровая кастрюля, хоть и старинная, с вензелями и охотничьей картинкой, но всё равно – кастрюля. Оставалось блеснуть талантом в доставшейся роли:

- Кушать подано-с!

Игравшие разом повернули головы.

За столом разговор никак не отходил от взяток и пунктов, онёров и робберов, коронок и шлёмов. Аркадий Борисович, которому с его партнёршей Жанной Олеговной все три игры как-то особенно везло, весело тараторил, резко наклоняясь направо-налево над соседскими тарелками. Модест Александрович редко и коротко отвечал ему, светя своей неизменной ясно-холодной улыбкой. В принципе и так не особо говорливый Антон Витальевич ужинал предельно сосредоточенно, зато сидевшая прямо напротив меня Жанна Олеговна всё время чем-то и кем-то руководила по телефону.

Да, и опять Надя меня удивила: рыбный, по поводу Петровского поста, стол своим разнообразием мог вполне конкурировать с каким-нибудь архиерейским приёмом. Одних салатов штук пять, и всё с обязательным креативом. Не ожидал я от такого эфемерного существа эпикурейской обстоятельности!

С нарастающим унынием понаблюдав, как старательно Микула, подливая всем желающим коньячок, кивает и поддакивает своему обожаемому директору, я, претерпевая сопение то и дело сдвигавшего меня могучим локтём Антона Витальевича и фальшиво поскаливаясь трескучим самовосхвалением Аркадия Борисовича, вдруг с ужасом ощутил, что меня повело.

Обычно это начиналось с зуда в ладонях и болезненного обострения обоняния. А потом я словно бы внутренне растворялся, утоньшаясь естеством до какой-то прозрачно стекловидной оболочки, становясь безвольным сосудом, энергопроводящей оболочкой для кого-то того, кто, заполняя образовавшуюся пустоту, совершенно самовольно моими губами выговаривал окружающим иной раз очень даже жёсткие дерзости. Правда! – я сам порой лишь с запозданием понимал, что произойду в таком состоянии. И потому реально обижался, когда ответно доставалось мне, а не моему проклятому внутреннему голосу.

Вот и теперь, сдерживаясь из последних сил, я растирал под столом ладони, пытаюсь не реагировать на всё гуще перекрывавший и так не очень аппетитную смесь запахов оливы и сёмги помадный аромат духов «той» или «не той» Голицыной. А ещё этот неугомонный Аркадий Борисович не унимался, тараторил, трещал, осыпая крошками мою уху:

- Нет, нет и нет! Хоть вы и спросили об ошибке, но ренонс есть ренонс, и пяток взяток я приписал справедливо! Совершенно! Масть никак не утаить, всё равно рано или поздно...

Именно тут Жанна Олеговна, отключившись от очередных переговоров, негромко, но властно покрывая все иные звуки, вдруг обратилась через стол ко мне:

- А скажите, Вадим, ваше поколение играет только в компьютерах?

Вот курок и спустило:

- «Ваше поколение»? Вы хотели бы спросить: всё ли мы – геймеры? Да, поголовно. Кто-то ещё казуал, кто-то уже хакер, но все молодые – единое безликое стадо юзеров.

Ух, какая зависла тишина. Даже сосредоточенный на изучении гарнира Антон Витальевич обречённо застыл с недонесённой вилкой. На запудрено-белом, многолетне не тревоженном в самодовольстве лице Жанны Олеговны поверх припущенных очков распахнулись совершенно живые глаза:

- Неужели я настолько неловко выразилась?

- Не важно на сколько. Главное, что внятно.

Когда-то, лет тридцать назад, эта женщина даже не смогла бы заподозрить, что кто-то ей противоречит. Тогда она была красива, очень красива, да и, наверняка, приличные родители, и состоявшийся муж или бой-френд. Жизнь подавалась на блюде. Тридцать, может, двадцать лет назад. Но теперь-то комплекс полноценности не могли поддержать никакие деньги.

- Я всего лишь хотела спросить: карты – прошлый век? По-другому невозможно истолковать то, ммм..., презрение, которое вы демонстрировали в отношении нашего непродвинутого времяпровождения.

- «Презрения»? Ну что вы, это слишком! Может быть, самый лёгкий скепсис.

Проклятый внутренний голос, он ещё и юродствовал. Но хозяйка престижной галереи и звучной фамилии уже вернулась в своё величество:

- Вадим, прошу прощения, если позволила какую-то двусмысленность. Однако, это вряд ли. As far as I know, проблема в заготовленности молодости быть неоценённой зрелостью. Увы, но, действительно, только с возрастом понимаешь то, на что не способна юность: на различие значения глаголов «утвердиться» и «самоутвердиться». «Быть или слыть»? – вот вопрос, на который по-разному отвечаешь по мере обретения опыта.

- Браво, Жанна Олеговна! Браво! – Модест Александрович примиряюще громко захлопал неожиданное столкновение. – Господа, а, действительно, в каком неизменном постоянстве жизнь подаёт каждым новым детям древние этапы взросления. В том числе, это вот извечное возрастное сыновнее отцеотрицание. Браво, жизнь! Всё повторяется. На бис!

- На бис! Бис! За это надо выпить. – Вокруг облёгчённо зазвенели рюмками. И почти в унисон запели о циклах конфликтов поколений, о тонком наблюдателе Тургеневе, с его теперь на века классическими Кирсановым и Базаровым.

- Ах-ха-ха! Послушайте, послушайте, про что я подумал! – Опять, перебивая всех и прямо над моим ухом, затрещал Аркадий Борисович. – Послушайте: это когда-то молодых протестунов звали Базаровыми, а сегодня они – Рыночники! Ах-ха-ха!

- Как перед нами были Фарцовщики. Ну, ваше поколение.

Ох, голос, ох! Пробурчал еле слышно, а замначальник департамента образования, культуры и молодёжной политики как шампанского из горлышка отглотнул. Пока он утирал нос после конфуза, интеллигентно ничего не заметивший Модест Александрович по-моисеевски повлёк общество в новую тему:

- А, действительно, господа! Чем можно объяснить выбор такого имени для героя? Не Обломов, не Безухов, даже не Раскольников? Есть версии? Торговля здесь явно ни причём, личные качества тоже.

Но от ассоциативной символики и симпатической магии личных имён в литературе девятнадцатого века разговор упорно возвращался к вневременному молодёжному нонконформизму. В результате под осуждение не могли не попасть арг, сленг и жаргон. Сколько ж рисков русскому языку несла неспособность юности не поддаваться чужому водительству! Тем более, когда никакой внятной государственной политики защиты

чистоты оного в виде образовательных и просветительских программ в обозримом времени не предвиделось. Ах, дети, ох, уж эти дети! Суют пальцы в розетки, глотают незнакомые предметы, верят извращенцам. В общем, опять всё сводилось к мальковому стадному чувству неразвитых, несложившихся личностей.

Моё мнение, достаточно вздорно уже заявленное в преамбуле темы, теперь никем во внимание не принималось. Но, когда хор «отцов» спелся в почти совершенном унисоне решительного осуждения, во всей красе своей былой самомнительной самостоятельности и столь ценимого мной принципиального протестантизма за «детей» вдруг да и восстал Микула. Совсем как в прежние времена:

- А что вы, собственно, хотели? Ведь нравится кому или нет, но сегодня порядка шестидесяти процентов новых компьютерных разработок – от железа до программ – творятся двумя тысячами фирм, упрессованных на крохотном пятачке американской Силиконовой долины. Silicon Valley – это сеть наукоградов, а ведь только IBM в одном только Сан-Хосе содержит около трёх с половиной тысяч спецов! Плюс научный потенциал Стэнфорда. Десятки тысяч самых продвинутых умов дают постоянный фонтан производства новизны в пространственном ограничении. Каждую неделю там рождаются глобально значимые девайсы и проги. И каждая прибабасина спешно получает своё название с семейством подсобных обозначений.

Я им любовался! Микула, отжав спинку стула, развернулся, мощными кулаками придавив край стола. Голос напряжённый, но в пределах приличествующей дискуссии громкости:

- Вот вам неизбежность сленга. И тут два вкуснейших момента для филологии. Первый: интернациональные научные группы – русские, китайцы, индусы, арабы, немцы и сами американцы, вынужденные нарабатывать взаимопонимание непосредственно по ходу своего коллективного труда. Это первоначальный слой. А следующий – это потребители новоиспечённого оригинального продукта, ещё более разделённые по языкам, да и по географии. Как всем им без сленга в онлайн слышать и понимать друг друга? Ну, кто бы успевал параллельно открытиям создавать адекватный толковый словарь и для создателей и для пользователей? А когда терминология не поспевает, то вся надежда на образность.

- Опомнитесь, ведь вульгарность...

- Одну минуту! Дайте мне закончить. – Микула чуть-чуть пристукнул кулаками, и его вилка с ножом тоже чуть-чуть призывкнули. – Самое важное, что я хотел вам сказать: ваше поколение, простите, но оно уже реально разделено с нашим технологически на-все-гда. И некоторые вещи вы не должны судить на основании лишь своего опыта. Не можете вы судить. Уже.

- Позвольте! Позвольте, молодой человек! – Опять похлопал ладошками Модест Александрович. – Пошлость можно судить и без специальной инженерной подготовки.

- Николай, ну правда же, разве для тебя культура речи не обладает самостоятельной ценностью, вне отношения к своей функциональности? – Неожиданно за папой подали голосок Надя.

- Да дослушайте же вы меня полминуты! – Микула привстал, удивлённо взглянул на свои кулачищи и быстро спрятал их за спину. – Полминуты! Ну, понятно же, раз новые названия англоязычны, то от поспешного заполнения культурологических лакун более романских и германских групп страдает наша русская речь. Это объективно. И тут мы наблюдаем презабавнейший момент: в ответ на лингвистическую агрессию срабатывает чувство национального патриотизма – неизбежные англицизмы намеренно коверкаются, осмеиваются! Адаптируя иноязычные определения, русские ребята их пародируют и смыслово, и фонетически.

- Опошлять? Опошлять из чувства патриотизма?! Вот так оригинальность! Истинно русская оригинальность! А-ха-ха! – Отправившись от приключившегося конфуза Аркадий Борисович вновь блистал немецкими очками и металлокерамикой. – При этом, почему-то

никакого патриотизма в отношении правительственных планов нашей отечественной «Силиконовой долины» не проявляется. Вот скажите, откуда этот массовый скептицизм молодёжи по поводу Сколково?

- От классиков. Про маниловщину и потёмкиновщину все в школе проходили.

Я чуть было опять не встрял, но вдруг мне как-то товарищески, а, может, даже заговорщицки улыбнулась Жанна Олеговна. И протянула салфетку:

- У вас майонез на щеке. И воздержитесь от ненужной рукопашной.

А правда, что, Микула сам не отобьётся? Я выдохнул и, оглядев стол, прямо из-под рук Антона Витальевича увёл остатки креветочно-мидийного салата.

Дискуссия, сложившись в классический социальный ролевой треугольник – «оптимист» Микула, «пессимист» Аркадий Борисович и примиряющий их «диспетчер» Модест Александрович, не теряя страстности, постепенно сводилась к равновесной теме игровой зависимости. Которой, как известно, в равной степени все возрасты покорны. И пусть старшие корили младших японскими девочками, совершившими самоубийство после «смерти» своих тамагочи, молодость контратаковала известными примерами стрелявшихся баронов и рантье на выходе из казино. И гибель Snowly – китайской девушки, доведшей себя до смертельного истощения многосуточной игрой в World of Warcraft, не могла не напоминать о страданиях совести Фёдора Михайловича. Но, если б Пржевальский не выиграл в карты кругленькую сумму, то не смог бы организовать свою знаменитую экспедицию! А что калечащие себя допингами спортсмены? Или кончающие с собой их фанаты? Тоже ведь ради игры.

- Да, кстати, Антон Витальевич, вы ведь не только профессиональный дипломат, но и профессиональный спортсмен! Вот и ответьте авторитетно: насколько быть игроком-теннисистом, так сказать, реальнее, чем теннисным болельщиком? – Негромко-властный голос Жанны Олеговны почти зримо осёк-обрезал словоизвержение замначальника департамента образования, культуры и прочего, которого понесло, было, в дебри осуждения разочарованности жизнью развращённого отсутствием гражданских идеалов поколения пепси.

- Да, кто в спорте больше играет? Участник или наблюдатель? Эмоциональные переживания и в том, и в другом случае сильнее, а вот что различно принципиально? Вообще, в чём суть «боления»? Не в тотализаторе же?

- Какой я спортсмен? Смеётесь. Лет двадцать ракетку не брал. – Антон Витальевич нерешительно двинул к себе стоявшее под моим носом блюдо с тонко нарезанными и скрученными в розочки филе сёмги и муксуна. – Всё в очень далёком прошлом. Главная часть моей жизни прошла по кабинетам.

- Ну, не прибедняйтесь, вы ж мастер спорта, призёр Москвы. У самого посла Великобритании выигрывали! Так что же это за явление такое – спортивные болельщики?

Антон Витальевич понял, что избежать участия в общей беседе ему не удастся, и со скорбным вздохом вернул блюдо на прежнее место:

- Явление сие древнее, допотопное. Оно есть проявление отношения семьи к главе, дружины к вождю, народа к князю. А произрастает это отношение из зоны мистики, ведь изначально только патриархи и цари были вправе встречаться с богами-покровителями, принося им жертвы, выговаривая блага и выпрашивая прощение грехов своим подданным. Кумир, идол – видимый представитель невидимых небожителей, а в рудиментальном понимании и обладатель особенных сил и необъяснимых дарований – тоже сверхчеловек. Что и объясняет иррациональное в отношении к герою его поклонников.

- И, правда: «кумир», «олимпиец», «культовая фигура»... Даже «культуризм» хранит в корне «культ»! Насколько стойкие определения.

- И «обожание» – это искажённое «обо'жение», становление богом. – Антон Витальевич, медленно по часовой стрелке поворачиваясь своим габаритным телом, обращался ко всем в очередь. – Современный человек придавлен натурфилософским образованием, его мистическое «я» затравлено рациональностью, загнано в подсознание.

Однако стремление к полноценной жизни, тяга к объёмным переживаниям рано или поздно пробиваются через эту корку. И вот тогда человеку обычному, то есть не лидеру, требуется предмет обожания. Ему нужен тот, через которого, через чьё посредничество, он соприкоснётся с высшими силами. Опять же, в силу своей ординарности, такой человек малоспособен даже на свой собственный, оригинальный прорыв в чьё-то обожание. Мало кто смеет открыто искать себе собственного гуру. Давно утеряна культура, традиция личного духовного водительства, она заменена законами, правилами, регламентами. Нарушать которые рядовому гражданину опасно. Для современного обывателя сквозь свою рациональную коросту совершить прорыв гораздо легче, запрятавшись в толпе, в коллективном «я». Там, где тысячи сливаются, единятся одинаковыми эмоциями в, так сказать, организованном порядке. Кем-то хорошо организованном. Отсюда и трибуны, и площади. И отсюда же вопрос: а игра ли это современное поклонение? Или управление стадом?

По ходу повёртывания Антона Витальевича, все замирали, видимо, лихорадочно ревизуя себя – а они-то не ординарны? Твари ли они дрожащие? Или «право имеют»? на личного гуру.

- «Стадом»? Как-то вы жёстко. О людях-то. – Надя, собиравшая опустошённые тарелки, замерла, столкнувшись взглядом с отцом. – Вот, например, в каждой женщине природой заложено поклонение лидеру – её мужчине. Отцу. Потом мужу.

- Не в каждой, не в каждой. Ведь где взять их, столько лидеров? Чтобы на всех? – Голос Модеста Александровича возвысился какими-то неприятными нотками. – Давным-давно была такая песенка, в которой утверждалось, что на десять девчонок по статистике только девять ребят приходится. Да и из тех в лидеры-то не более одного-двух рвётся.

- Этот куплет ты сам досочинил? Удачно. – Надя совершенно точно повторила папину улыбку, ясную и холодную.

- Позвольте озвучить неловкий каламбур! – Хоть раз вовремя и к месту вступил Аркадий Борисович. – Мы столько сегодня пугали друг друга игроманией, но ведь есть игра, которая для всех присутствующих одинаково увлекательна. И её главный персонаж для всех в равной степени предмет обожания. Ах-ха-ха! Надежда Модестовна, а сыграйте для нас что-нибудь!

- Правда! Наденька, сыграй! Прекрасная идея!

Как чудесно она смотрелась за инструментом! Обведённый золотой прерывистой линией контур и размыто двоящееся в чёрном лаке отражение, вздрагивая и покачиваясь, вторили аккордам адажио из «Мелодии» Рахманинова. Сочинение третье, номер тот же. Трепещущие на обоих подсвечниках огоньки возвращали её утреннюю бестелесность. И пусть беглость исполнения несколько не соответствовала авторскому замыслу, но Надя играла, именно играла, выигрывая, вынимая из нот эмоциональную правду в чувственном её развитии. И старинный инструмент благородно отвечал слишком лёгким пальцам роскошно объёмными звуками, струнами равно чутко передавая Надины удары и касания клавиш.

Вообще я очень боюсь исполнителей Рахманинова. Ведь русские композиторы не столь зависят от технического мастерства музыкантов, как западные. Ну, импрессионисты не в счёт. Русских композиторов в тираже исполнения ограничивает их лиричность. Ли-ри-че-нно-сть. Можно по пальцам одной руки перечесть имена дирижёров, умеющих полноценно передавать Чайковского, Глазунова, раннего Стравинского. А как мучался Свиридов в подборе дирижёра, одинаково чувствующего с ним не просто темпы, а саму ткань, наполненность оркестрового звучания! Моцарт, Бах, Бетховен, Брамс, Лист – исполнителю вполне достаточно одной лишь виртуозности для того, чтобы доставлять слушателям удовольствие. Но вот уже у Рихарда Штрауса и Малера есть такие минорные сцены, которые на технике не отмашешь. Нужны некие особые душевные качества. Наши, русские качества. Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Черепнин, Мусоргский, а, тем

более – Пётр Ильич, своей неуловимой для иностранцев и иноверцев лирикой навсегда и окончательно разделяют Светланова, Овчинникова и Федосеева с фанерно-дровяной массой остальных, пусть даже самых лауреатных и распиаренных маэстров. Мажор может быть хорош и у Полянского, и у Когана, и у Баренбойма, но минор им не удастся. Наш, русский минор. Будет и приглушённо, и замедленно, но не лирично. Чувственно неточно.

Гм, это я от того такой умный, что мама – преподаватель сольфеджио в районной музыкальной школе. Принимаю соболезнования, зато прошу оценить, что, в отличие от брата, я сумел таки недоучиться.

Надя играла Рахманинова. И свечи на инкрустированном перламутром фортепьяно подрагивали в согласии с атаками на звук. А в уставленной антикварной резной мебелью гостиной, увешенной пейзажами и дагерротипами, не смотря на двухъярусную люстру, отчего-то казалось темновато. В такой притенённости ещё ярче золотилась линия, описывающая подрагивающий и покачивающийся контур. Адажио из «Мелодии», сочинение третье, номер тот же.

Мы с Микулой медленно вышаркивали подошвами по бетонным плиткам дорожки. Беззвездную, беспокойно шелестящую темень усадебного сада театрально подсвечивали и подцвечивали квадратные окна жилых флигелей и круглые столбовые фонари. Два жёлтоватых и три синюшных фонаря образовывали какие-то аквариумные пузыри, в густой мути которых мириадами рыбьими стаями чуть покачивались матово бликующие яблоневые и липовые листья. А лоскуты разноцветных штор напоминали паруса времён Персея и Ясона.

Пару раз нас нагоняли и толкали в спину затяжные порывы сырого ветра. Макушки деревьев, соприкасаясь, что-то встревоженно бормотали друг дружке. Видимо, передавали весть, что дело неотвратимо движется к дождю.

Микула выслушивал мои ябеды на жизнь, изредка вздыхая и подмыкивая. Но когда я скатился уже до откровенных слёзоточений, он неожиданно согнул меня, придавив шею тяжёлой ладонью:

- *Есть мысли тайные в душевной глубине...*

- Ты чего? – Вывернувшись, я ткнул его кулаком в ребра. Микула отпрянул и задекламировал во весь голос:

- *Поэт уж в первую минуту их рожденья*

В них чует семена грядущего творенья!

- Чего?!

- *Они как будто спят и зреют в тихом сне,*

И ждут мгновения, чьего-то ждут лишь знака,

Удара молнии, чтоб вырваться из мрака...

- Какой молнии?

- Ну ты тупой! Обидно, что не блондин, а такой тупой. Знак тебе грядёт, знак! Чего тут не понять-то? Сам же выписал мне классическую картину сгущения атмосферы перед грозой, но, вместо того, чтобы ужасаться будущему, принялся ныть по благополучному прошлому.

- Совсем запутал.

- Не скули, брат! Хотя тебе и фигово, но вполне вероятно, что вскоре будет ещё хуже.

- Да, братец, ты меня утешил. Решительно.

- Уж как смог. А чего ты ждал? Тебе ли объяснять, что в подобной жести надо идти к старцу. Сейчас тебе только кто прозорливый поможет. А я чего могу? Так, порассуждать на тему.

- Я уже думал об этом.

- И чего?

- А к кому? И куда?

- Можно в Сергиеву лавру к Кириллу, можно в Оптину к Илии.
- Да как к старцам на приём пробиться? У меня никого знакомого ни там, ни там.
- Главное – цель и мотивация. Стратегия приложится.

Едва мы поднялись на крыльцо, как очередной накат ветра закачал, закрутил яблоневыми и липовыми ветвями, и стаи листьев-рыбок, словно под атакой невидимых хищников, отчаянно заметались в световых пузырях. Микула открыл двери и отступил, пропуская меня в по-родному пахнувший лаком, птицами и кашей уют мастерской. Но в момент перешагивания порога я почувствовал карманный зуд и услышал сигнал пришедшей эсэмэски. Надо же, наконец-то хоть кто-то сегодня обо мне вспомнил! Откачнувшись назад, я едва не столкнул Микулу со ступенек.

- Эй! Ты чего?
- Похоже, что знак!
- Какой?
- Какой ты накаркал. Сейчас посмотрим.

Первые капли прошлёпали осторожно, наощупь пробуя определиться с ночными целями, но уже через минуту-другую протяжные струи хозяйски оббивали железо крыши и бетон дорожки, отжимали покорно подрагивающие ветви до короткой блескучей травы. Бедные, беспечно зелёные кузнечики, каково-то им там?

Микула уже проскрипел в свой мезонинный кубрик, но я никак не мог перешагнуть входной порог. А всего-навсего четыре слова с одним предлогом и двумя знаками препинания: «Я в Москве. Когда повидаемся?»

Не знаю, сколько часов я просопел, притворяясь мёртво спящим, но дождь утих, небо за окном осторожно просветлилось, заискрилось мелкими звёздочками. Микула, что-то потоптав на ноутбуке, сходил в ночной дозор, и, убедившись в отсутствии на охраняемой им территории злоумышленников, нежно придавил свою кровать. И, да, завсхрапывал он поубедительней.

Почти беззвучно спустившись, я выскользнул на крыльцо. Закурил. Парной воздух мгновенно облепил влажным холодком, через лёгкие проникая в кровь, ознобом пробежал вдоль спины. Наваясь на перила, я наслаждался одиночеством. Отовсюду доносились скапывающие шорохи – сад распрямлялся, всё смелее воздевая прибитые ливнем ветви к светлеющему от востока небу. Туманная дымка, цепляясь за острия травинок, нависала, покачивалась вдоль обочин дорожки, но стечь на чёрную полосу протянувшейся до центральной аллеи лужи не решалась.

Одиночество.... Сегодня мы тайно одиноки напротив зеркала и посреди толпы. Сегодня одиночество загоняется нашим бытом в ванную, упрессовывается в лифт или салон автомобиля, опускается в переходы метро. Оно мельтешит бликами телесериалов в чужих окнах, воровато висит в «контактах» по офисам. Одиночеством измеряется период меж эсэмэсками. И так же тайно мы одиноки и за семейными завтраками. Ведь разговоры по сотысячному поводу давно даже не суррогат общения, типа порошкового молока или чего-то там со «вкусом говядины», они всё то же подавление вязко-вялого отвращения неизменяемостью мира, подавление страха перед не востребованностью своей живой индивидуальности заостренной стандартностью среды. Ненужность индивидуальности человека в стандартах и форматах офисов, лифтов, кухонь, в бликах сериалов за чужими окнами – тайна страха. Обесцененность-обесмысленность личности.

Но! Но когда всё тебя так тупо и нагло обесмысливает, то ответно ты обесмысливаешь всё. То есть, ты уже сам воспринимаешь это самое «всё» обесмысленно-обездумленно – только чувственно, только эмоционально. Не включая мозги. Это полная хрень, что в одиночестве лучше думается. В одиночестве лучше чувствуется! Одиночество – бездумно и душевно. Потому-то одиночество определяется эстетически – оно ужасно, когда тайно, и прекрасно в откровенности.

Одинока личность всегда. Скажи об этом вслух – и перестань бояться!

Я наслаждался одиночеством.... Пережившая ливень малиновка ненастойчиво пробовала воспеть свою любовь к родному гнёздышку. Издалека, от речной поймы о том же заподскипывал коростель. Ему поддакивали лягушки. Скопившийся под деревьями туман окончательно остыл и начал густеть, укладываясь в траву тонкими слоями.

Наконец я уловил долгожданное дыхание морфея и собрался, было, вернуться в дом, когда увидел приближающиеся фигуры.

Сухонький, белобородый старичок в сером мешкообразном плаще и широкополой шляпе осторожно вёл под руку девочку-подростка в светлой накидке и с маленьким, почти игрушечным зонтиком. Они шли, чуть склонив друг к другу головы и, кажется, над чём-то смеялись. Только без звука. Совершенно без звука. И ещё, мне показалось: они не только не тревожили залившую дорожку воду, но даже не отражались в ней.

Какой-такой морфей?! Вцепившись в перила ногтями, я на долгом-долгом выдохе следил за приближением призраков. И лишь когда они оказались в зоне фонарного света, разглядел, что это были совсем даже не привидения, а те самые мальчонка с девчонкой, что попрошайничали в магазине! Телесные и живые, в больших, не по росту плащах и под детским зонтиком, они сами боязливо жались друг к дружке. Да, убойная получилась смесь из темноты, тумана и сонливости.

- Эй, малявки, привет! А чего вы тут забыли? Да ещё и в такое время?

От звука моего голоса они закаменели. Понятно, не лучший способ обнаружиться. Но, а если б я просто шевельнулся, то намного получилось бы лучше?

- Привет. – После объяснимой паузы откликнулся мальчишка. – Мы к Фомичу.

- Это который?

- Который Хома Брут.

Отряхиваясь, дети поднялись на крыльцо.

- Так чего так поздно?

- Надо.

- Тогда welcome.

Ребята перед порогом разулись, но капли с плащей и струйка с зонтика отметили их путь через всю мастерскую до пристанища вселенского философа-киника. Я, собрав и расставив разбросанные резиновые сапожки, осторожно затянул входную дверь.

- Фомич. – Мальчишка постучал сначала осторожно, потом резче. – Фомич!

В ответ тишина.

- Фомич! – Подёргав ручку, он возмущённо обернулся ко мне. – А где он?

- Откуда мне знать?

- И чё нам теперь делать? – Он ещё раз попробовал ручку на крепость.

Я уже, было, раскрыл рот для произнесения чего-то дидактично-педагогичного, но увидел скривившееся подступом плача личико девчушки.

- А что случилось-то? Могу помочь?

Малышка разревелась в полный голос.

- Мы здесь переночуем? – Брат стиснул сестрёнку, прижимая её голову к груди. Но та дёргалась, толкалась, и, освобождая рот, ревела всё отчаянней.

Под тяжестью шагов проскрипела лестница, и над ребяташками навис не до конца проснувшийся Микула:

- Кто тут кого обижает?

Малышка вывернулась из-под братовых рук и приникла к ноге Микулы. Тот, присев, подхватил девочку, выпрямляясь во весь свой рост, поднял и осторожно заприглаживал белые лохмотушки:

- Тише, Ленуська, тише. Ну, что, Вовка Решетников, опять двадцать пять?

- Опять. – Мальчишка бросил плащ под дверь Хома и направился к холодильнику. – Похавать надыбаю?

- По-человечески говори. Базлаешь как босяк.

- И ты туда же. Паучайте лучше ваших паучат.

- А щелбана?

Маленькая Ленуська поуспокоилась и вместе с братом сосредоточенно поглощала холодную фасоль со свиной. А тот, скребя вилкой, успевал озадачивать вопросами меня и препираться с Микулой.

Разузнав обо мне всё ему интересное и насытившись, Вовка Решетников мелко зевнул:

- Мы здесь поспим?

- Давно пора. – Ответно Микула развез свою пасть по-львиному. – Устраивайтесь, я что-нибудь укрыться принесу.

- И под голову! – Вовка шумно сгрудил тарелки в мойку, втокнул пакет с соком в холодильник и забродил по комнате.

- Не трогай радио. Сломаешь. – Ленуська заворожено кружилась под клетками с очумевшими от неожиданного полуночного бдения канарейками. Но Вовка уже потрогал, и по комнате понёслись уже знакомые мне хрип и посвист, прорвавшиеся раздражённым старческим голосом:

- Есть комнаты, в которые не входят без приглашения. Есть бремена, которые не принимают самовольно. Есть тайны, в которые не стоит проникать даже случайно.

Переглянувшись, мы все, не сговариваясь, потянулись к выключателю.

- Но, уже войдя, приняв и проникнув, не стоит закрывать глаза и зажимать уши.

Наши ладони столкнулись, заплелись пальцами, и голос успел доворчать:

- Ибо бесполезно отрицаться узнанного и ответственности...

Вновь закапало с крыши, затарабанило по подоконникам. Дождь, по-видимому, решил, что недоработал и возвратился слить всё по-полной.

- Барбоса жалко. – Вздохнула Ленуська.

- А чего ему? Сидит себе в будке.

- Она протекает.

- Немножко. Подумаешь.

Микула втащил пледы, одеяла, подушки. С Вовкиной помощью соорудил на лавках спальные места:

- Всё, отбой. Завтра дожидесь Хому.

- Конечно, мы за ним и пришли.

- Бай-бай, бэби. Баю-бай. – Мы поднялись к себе наверх, залегли. Покрутились, позевали, прислушиваясь к обретшему второе дыхание дождю.

- Это чьи ребятишки? – Я не выдержал первым.

- Одной тут. Алкоголички. – Микула с минуту помолчал, но заснуть у него тоже не получалось, и он почти беззвучно забормotal:

- Хома их пригрел. Когда мать, Анка-Решето, в запой уходит, они около станции попрошайничают. Может, и воруют. Хотя вряд ли, мелкие ещё. Анка пьёт недели две-три, у неё там такая компания сбивается – Репина на них нет. Или Короленко. Когда совсем невмоготу, ребятишки у соседской собаки в будке ночуют. Барбос на вид чудовище, но умный и добрый, им уступает, а сам на улице спит. Родительских прав Анку лишают уже года два. Но она, когда трезвая, всё заминает. И я свидетельствую: дети и мать друг друга любят, жалеют. Тоскуют, когда в разлуке. Патология, но сердце всякий раз рвёт. И ещё: она красивая. Знаешь, есть такая античная гармония и чистота, которую ничем не замажешь. Неделю не попьёт – Камея. Вот и похоже, что у Хома не совсем простая филантропия вырисовывается.

- Женщины ведь не излечиваются?

- Практически. Но тут и другая беда. Последний Анкин мужик, отец Ленуськи, вор-рецидивист. Очередной срок доматывает, скоро откинется. Ему какие-то доброты на зону стукнули, и он Анке уже пообещал Хому завалить.

С утра по всему миру вновь воцарились и жизнь, и радость. Воцарились розово-золотым разливом зари, восторженным птичьим криком, искрящейся памятью ночного дождя в пряной листве. Весь этот избыток жизни вваливался в мезонин через распахнутые створки, заглушая и так ненавязчивый шепоток окончания Микулиной молитвы.

- ...ради Пречистыя Твоя Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Я вдавился затылком в плоскую подушку, долавливая нутреные остатки темноты и теплоты. Но шёпот вдруг взорвался великолепной имитацией горна:

- Тааа-татата! Тата! Вставай, о великий Красноглазый Личер из племени Чатлан! Пора приступать к водным процедурам.

- Э-а-ау! Сам ты Казуал. Из рода Жыжы. Что, по лужам предлагаешь пошлёпать? – Простынь не укрывала от благоухающей «Лесным бальзамом» Микулиной улыбки:

- В озере понырять!

- Да мы вчера-то в грязи там тонули, а сегодня и подавно сгинем.

- Не бойся, сегодня добежим до пляжа по дороге.

- Так ещё и бежать! Дикость какая. Бескультурье сельское. А ведь насилие над непроснувшимся организмом ведёт к его неминуемым травмам. – Я ворчал, но лишь для вида: утро почти горизонтальными лучами уже пронизало меня и светом, и гононом. И Микулиным задором. – Сначала не давал заснуть, теперь не даёт прийти в себя. А душе из астральных странствий вернуться по будильнику невозможно – это же таинство. Священдействие. Сакраментальность. Мистериальное событие. Оно требует строгой ритуальной последовательности: вначале потягушечки, потом жмурочки.... Далее неспешное планирование предстоящего дня – лёжачи. И жаление себя в предчувствии перетруда.... Потом осторожное прощание с тёплым покрывалом... Нащупывание тапочек.... А тут: «побежим», «поныряем»!

Дикость. Бескультурье. Нецарскосельское.

Вода приняла в себя, прощая и унеживая готовностью вечного материнского ожидания. Вода сглотнула звуки и свет, покрыв от пространств и освободив из притяжения. Тело, в момент касания с её прохладной податливостью, ответно вспыхнуло, напряглось, ужав сердце в точку, а ум в междометие. И все мои свершившиеся двадцать два года разом обратились в ничто: условные рефлексy и личные опыты, учебные познания и эмоциональные, рациональные и моральные оценочные системы – всё, всё исчезло, пропало, оставив лишь чувственное восприятие себя-не-себя, самоопознание плода в утробе, первоначальное определение своего эго во Вселенной.

Змеиными качками я достиг кисельности заиленного дна и, долежав до полного выгорания кислорода, разрешил себе возвратиться к поверхностной парной молочности.

Действительно, зеркальная гладкость парила шерстисто-нежным теплом и настоящим травного духа нанесённой с полей цветочной пыльцы. Блаженство. Сказка. Садко и Бова-королевич меня бы поняли. Да неужто в этом заповедном уголке и русалок не водится? Царевен-лягушек, на худой конец?

Так как Микула размашистым кролем поплюхал налево к дамбе, я свернул вправо. Неспешным брассом двигаясь посередине лёгко изгибающегося пруда, я смотрел на сходящиеся стенки камыша, пробитые рыбацкими схронами, на всё чаще встречающиеся ладошки-листья ещё не расцветших кувшинок, и искренне ждал – а не раздастся ли откуда призывный смех? Не качнёт ли волну вынырнувшая девичья головка с озорно зелёными глазами и синими локонами, подпёртыми смутно просвечивающимися грудями? Ах...

Когда пугающие водорослевые касания с начинающихся замелей стали постоянны, я решил возвращаться. И тут-то увидел – нет! – не русалок, а вчерашних картёжников-интеллектуалов Жанну Олеговну Голицыну и Антона Витальевича Сладкова.

Жанна Олеговна сидела на раскладном стульчике у самой воды, обеими руками держа длинное чёрное удилище. А выше, на краю глинистого обрывчика, под причудливо

раскоряченной берёзкой Антон Витальевич что-то вдохновенно выводил кисточкой по картонке, закреплённой на новеньком этюднике. Оба в почти одинаковых спортивных костюмах, цветасто описующих их богатырские объёмы.

- Здрасьте. – Я замер, считывая мысли, что посетили Жанну Олеговну, когда её поплавок задёргало поднятым мною волнением.

- Доброе утро, молодой человек. – Но, молодец она, голос звучал вполне беззлобно. Антон Витальевич неспешно повернул голову, и тоже нелюдоедски улыбнулся:

- Привет спортсменам.

- Извините, что помешал.

- А, всё равно не клюёт. Да и не ставилось целью добыча пропитания: вряд ли местные обитатели съедобны. Как водичка? Закаляетесь с утра пораньше?

- Это меня Николай заманил. Так бы ещё спал да спал.

- В ваши годы сон – баловство, почти что не нужное. Эх, вернуть бы эти самые ваши годы. А то я вот на старости, вдруг, да и почувствовал запоздалую тягу к краскам. – Под ногой неожиданно разговорившегося Антона Витальевича глухо брякнула серая сумка-контейнер. – Кофейку не желаете?

- С удовольствием. Только оденусь. – Я осторожненько развернулся.

- Николая прихватить не забудьте. У меня до него дело имеется. – Жанна Олеговна пристрастно осматривала оголённый крючок.

- Куда ж я без него?

Удерживая горячий пластиковый стаканчик за самую кромку, я схлёбывал шикарно пахнущий кофе. И старался не смотреть на раскрашенный картон.

- Ну, в наше время в нашем кругу военная тема трактовалась абсолютно однозначно. Не страстных пацифистов я даже не припомню. – Жанна Олеговна без грима и со стянутыми в простецкий пучок волосами казалась совсем домашней. Однако тексты изрекались со всё тем же вчерашним пафосом. – Погоны прощались только ветеранам. Мундир, хоть морской, хоть лётный, для нас зачёркивал любого Алана Делона. Или Аристотеля. Когда одна моя однокурсница задружила с курсантом, ей пришлось покинуть общежитие. Ответно доставалось нашим хиппующим ребятам. Длинные волосы, борода и джинсы – символы социальной независимости, в случаях попадания в милицию, обрекали художника или музыканта на настоящие пытки. Рассказывали, что стилигам ещё хуже приходилось, но то преданья старины глубокой, а вот нашим арбатским хиппи почки отбивали. Просто за то, что на вид не строители коммунизма. Не нашенские, не местные.

- А я сколько вам говорю: азиатчина, московитская азиатчина! – Толстый Сладков фарсово погрозил небу кистью. – Православная Монголия, как бы вы не отнекивались.

- Разве мы с вами, Антон Витальевич, когда об этом спорили?

- Спорили, ещё как спорили.

- Ну, это я только против тона, против излишней грубости восставала. Всё-таки о России говорим. Какая-никакая, может, в чём и уродина, а всё же родина. Не надо бы так.

- Жанна Олеговна, сколько я повторять должен? О разном мы говорим, о разных понятиях этой самой родины-России. Вы государство, эту систему высасывания соков, от народа с его жертвами, упорно отделять не желаете. И не из искреннего заблуждения, а из фрондёрской женской упрямости. На которой феминизм базируется. Неужели вам нельзя с мужской логикой соглашаться? Опять отвернулись. А, вот, пусть нас ребята рассудят!

- Пусть.

Жанна Олеговна с подчёркнутым невниманием заследила за играющей в вышине парой чаек, эффектно втягивая дымок «Pall mall» через длинный, прессованного янтаря, мундштук. Зато Антон Витальевич возбуждался всё более, пыхтя и булькая закипающим самоваром. Я даже заподозревал: не под кайфом ли дядя? Точняк, поди, принял дипломат драйва на рассвете, до обеда пробуждает, а к вечеру опять станет вчерашним, отходным и сонным гигантским пингвином.

И ещё я, нет-нет, но всё же напал взглядом на его свежее произведение. Кому как, а мне никогда не понять, чтобы вот так – в присутствии нормальной, полноцветной жизни, м... мазать её п... птичьим дерьмом по г... грязи. Да ещё и с младенческой корявостью. Почему неумелость, неумность и лень уже лет сто пятьдесят упорно кликают новаторством? О, «modern»! «Postmodern»! Нет, мне никогда не понять, как можно Ван Гога рядом с Ван Дейком ставить. Мазня, она и есть мазня. Хоть как её пиарь.

- У матушки-России был её исторический шанс, был! И мы вполне могли бы стать нормальной Европой, с нормальной демократией и законной собственностью. Но наши прадеды не то, чтобы этот шанс профукали, они принципиально выбрали себе Азию. Монголию, которая, привившись, вольясь в кровь и дух восточных славян в тринадцатом веке, никогда нас более не отпускала. И большевизм, с его сердцевинным сталинизмом, – всё та же наша внутренняя русская монголия. Иго-то кочевники установили за каких-то двадцать лет, и на двести лет преспокойненько откочевали, поручив собирать дань с русских русским же. А наши православные князья уже сами давились у ханских ног за ярлык на ободирание своих православных же смердов и изорников. За высочайшее счастье почитали породниться с ордынцами. И в этих драчках победила Москва – и Тверь, и Владимир победила тем, что первая стопроцентно обьязилась. Московия – русская орда. С тех пор мы – славянские монголы. И нам уже просто по генетическим причинам не родить ничего, кроме тоталитарного устройства собственной жизни, будь то на Валдайской возвышенности, на Кавказском или Камчатском побережье. Мы уже навсегда неевропейцы.

- Так, в чём же был наш шанс? – Микула, давно допивший и добавку, как-то завис меж ушедшей в себя Жанной Олеговной и вышедшим Антоном Витальевичем.

- А в том, что совсем рядом княжества и городские земли Западной Руси, что не попали под татаро-монгольский сапог, создали величайшее для своего времени истинно европейское и истинно русское государство. Только что вы о нём знаете? Что вам в школе рассказывали? Или в институте? Ничего? Никакой системной информации в официальной истории о Русско-Литовской конфедерации не найти. Лишь отрывки и обрывки из разрозненных источников.

- Эй, позвольте! Если от Литовской Руси ничего не осталось, то как же вы-то о ней узнали? – Микула, с оглядкой на гордо выпрямленную спину оставляемой Голицыной, придвинулся к Сладкову.

- А я не ленив и не скудоумен. – Антон Витальевич товарищески подмигнул мне. Но я никак не мог отключиться от беспомощности его «живописи» и потому в товарищи не рвался. – Земли Подольская, Волынская, Северская, Смоленская, а после и истерзанная Киевская, добровольно пошли под щит литовский. Это в ранней юности Александр Невский героически бился с Европой, но в зрелости покорно-добровольно выпрашивал себе ханский ярлык на баскачество с непокорённого ордой Новгорода, что так озадачивает наших квасных патриотов. А ведь совсем рядом предки Радзивиллов и Вишневецких, Потоцких и Замойских, Чарторыйских и Острожских – русские предки нынешней высшей польской знати – выбирали себе в будущее не Сарай, а Рим. И, кроме князей, на тот же путь вступали самоправные города Владимир-Волынский, Брест, Гродно, Луцк, Полоцк, Могилёв, Витебск, Глухов! А так же Смоленск, Минск и Киев, уже оформленные вечевого демократией и закреплённой Магдебургским правом.

- Но этим Магдебургским правом их уже Речь Посполита, то есть, не литвины, а перекупившие у них власть ляхи награждали – Микула ещё чуток отдалился от Жанны Олеговны.

- Да кто вообще эту Речь создал?! Если б вожди русской партии князя Острожские и Чарторыйские краля Сигизмунда-Августа не поддержали, то никакой Польши сейчас не было б в принципе. Литовская Русь Великую Польшу и создала!

- Антон Витальевич, но ляхи нам завидовали всегда. Вся история соседства – кто кого. И в чём же был наш шанс? – Это уже робко притиснулся я.

- В европеизме, в свободном европеизме, с его защищённой законом личной собственностью! Ведь Русско-Литовская конфедерация по «Русской правде» жила с материальной ответственностью, и ни под какую Тамерланову круговую поруку, под «общаг» подлежать не желала. Эх, если б тогда у нас на Северо-Западе свой национальный вождь нашёлся, свой русский дуче. Разве пошли бы наши земли под литвинов, а затем под ляхов, кабы на них Москва своей азиатчиной не надавила? И эту их правоту очень скоро Ванятка Грозный подтвердил, когда с ордой опричников всё тот же многострадальный Новгород вырезал. А далее и вовсе татарчонок Бориска...

- Зато уж какой нам, азиатцам, ваш западник-самозванец образец просвещённого либерализма явил! Лжедмитрий-то, с краковскими родственниками коррупцию развёл просто невиданную при татаро-монголах. И грабежи развернул полютее крымцев.

- Позвольте!

- Нет уж, сами увольте! – Жанна Олеговна резко встала, и, с присвистом продув мундштук, начала сосредоточенно переключать в капроновом ящичке крючки, блёсны, лески, поводки и прочие поплавки. – Кстати, рабовладение, под видом абсолютного крепостничества, опять же ваши панове европейцы на триста лет ранее наших русских дикарей ввели. А иезуитские пытки православных казаков даже людоедов бы ужаснули. И новгородские торгаши, тоже те ещё паиньки, ради ганзейских барышей чуть, было, всю Святую Русь жидовствующими ересями не перезаразили.

Дабы не вступать в явно «древний спор славян между собою», мы с Микулой без перегляда спешно заоткланивались.

- Николай, значит, мы договорились? Вы в среду подъедете и посмотрите клавир.

- Конечно, Жанна Олеговна. Мне уже невтерпёж взглянуть. До свидания?

- До свидания, молодые люди, спасибо за компанию.

- Всего доброго. И передавайте поклон Модесту Александровичу. И Наде!

- Пре-непрененно, Антон Витальевич.

На дамбе мы приостановились. Верховой ветерок цеплял макушки тополей, и на недовольно морщащуюся воду слетали косички неопушившихся семян. Их поспешно окружали рыбы подростки, но, методом тыка убедившись в несъедобности паданков, разочарованно растворялись в глубине.

- Забавный дядька. – Я натянул майку на обсохшее тело. – Вчера чуть дышал, а сегодня аж подпрыгивает. Он, что, какими-то стимуляторами пользуется? Типа виагры.

- Давление. Возрастная метеозависимость. Естественная при его избыточном весе. – Микула тоже одевался. – Сладков на наших вечерах не так давно, но его как-то сразу Модест Александрович принял за родного.

- За этот самый свободный европеизм?

Микулино мнение спряталось под козырёк надвинутой на брови жёлтой бейсболки.

- Нет, а чего он, на самом-то деле? О, «русская монголия»! О, «орда опричников»! Русофобия даже не столько в словах, сколько в тоне. Классическое чужебесие: всё, что ихнее – то красота и полезность, а всё нашенское – дрянь и кромешность. И то, как в Польше иезуиты над православными беспредельничали, его вообще не колышет. Такое ж европеизм никоим не чернит: православие – тоже ж азиатчина.

- Не демонизируй. Обычный дилетантский бзик самопального историка: взять, да и сделать с утра мировое открытие. Что там ваши научные школы и традиции? Сплошная лень ума. А вот я вам сейчас враз докажу, что и русская крестьянская община, и советский колхоз – лишь продолжение даннической круговой поруки, введенной ордынцами по китайскому образцу. Никакой родовой взаимовыручки, никакого христианского братства, только баскаческое насилие. Так-то он неглупый мужик, но атеист конченный. А это, увы, не лечится.

Последнее в пояснениях не нуждалось. Уж я-то по-полной настрадался от своего папани, который выжимал из себя «совка» совковыми же способами. Для него всё точно так же: прогресс от тирании к демократии – единственный путь для человечества, а церковь – музей архитектурно-живописной и музыкальной культуры и приют умственно ущербных. Когда я начинал воцерковляться, то только маменька нас от боестолкновений удерживала. Тем, что в случае прекращения прений всерьёз отказывала в ужине. Если б не угроза голода, из меня наверняка бы получился новый Савонарола. Или new-Аввакум. Самосожженец в микроволновке.

А можно ли мирно объяснить гордому своим инженерным умом человеку его, ну, вовсе необязательную компетентность за пределами технологий монтажа и режимов эксплуатации теплосетей? Как доказать, что вполне заслуженная авторитетность в какой-либо области ну никак не гарантирует непогрешимости общего мировоззрения? Ответ обычно краток: молчи, молокосос. Хотя выражения этой неотразимой логики могли быть весьма протяжны и витиеваты, но суть всегда такова: цыц!

Тупиковость нашего с отцом взаимного непонимания заключалась в том, что каждый спичевал о своём. Я пытался простучаться о смысле жизни, а папаня талдычил об её условиях. Так как безбожное сознание не в состоянии оценивать себя бессмертием, то для атеиста его физическая кончина – безумие мироздания. Безумие, которое опускает его самоопределение homo sapiens до какой-то, пусть даже очень сложно организованной, биомассы. В сплошное белковое выживание на фоне космических случайностей. Что в атеизме мерило жизни? Какие критерии? Сытость, безопасность, размножение... и ... всё? Привет психоаналитикам! А где смысл? Я ему о смысле рождения, роста, взросления, старения и смерти каждого человека, о промысле Творца о каждом творении. А он – «демократия», «собственность», «общественный договор»... Но, если ж «всё равно все помрём», то что же тогда это всё за пределами личных чувственных и интеллектуальных восприятий? И удовольствий.

Вот, разве можно было беседовать до ужина мирно? Бедная наша мама. Да, нужно ей отзвониться, успокоить, что здесь всё безоблачно: кругом царит и жизнь и радость.

Навстречу на дамбу поднималась цепочка гастарбайтеров. Десятка полтора зашуганных, одетых в одинаковые новенькие жёлто-синие робы таджиков послушно семенили под конвоем двух местных бандюганов. Шедший впереди браток – невысокий, но широкоплечий белобрысый жиряк в клёпанной-переклёпанной кожаной куртке, в кожаных брюках и велосипедных перчатках без пальцев, вызывающе оглядел нас и для пущего устрашения пристукнул кулаком в ладошку. Нет проблем! – мы и сами уже отступили на обочину. Навсегда усталые глаза, неотмываемые руки, вжатые чёрные шеи – гастарбайтеры, похоже, давно потеряли какой-либо интерес ко всему, что не являлось едой и не несло угрозы. Один за другим они проходили мимо, едва различные возрастом, ростом и стрижкой, словно бруски на конвейере. Замыкающий шествие бандит нёс на плече обмотанную изолентой битку.

Не знаю почему, но каждый раз, когда я встречал эту человеческую униженность, эту обезволенную обречённость, меня просто зло разбирало, реально челюсть сворачивало – ну как так можно? Как?! Вот она, овощная генетика пустынножителей: немного поест и немного размножиться. Ни-к-чему-не-стрем-ление – ни к музыке, ни в науку, ни в спорт. Даже не в религиозные террористы. Притом, что труженики, работяги, и не тормознее тех же горских шустрил. Но такая вот полнейшая неспособность к развитию, к возгонке личности. Без перспектив – конвейерные брусочки, забитые, обезличенные. А ведь когда-то их предки слыли лихими воинами, и сами промышляли работорговлей. Так почему же их потомки даже не помышляют о победе, о свободе, не видят сны о космосе? Что вообще происходит с народами, когда они в некий миг подламываются, как-то истираются? Даже создатели цивилизаций и государственности – свободомыслящие эллины и граждане Рима – нынче ни на что уже не годны, кроме

тряпичной торговли, гостиничного сервиса, рестораторства и сутенёрства. Главное, они уже не-хо-тят-ни-че-го-ве-ли-ко-го.

Стоп! Стоп. Мне-то до всего этого какого? А такого, что видится здесь некая злая карикатура на христианское понимание смирения. Пошлая, оскорбительная карикатура. Да-да, именно таким наше смирение папая себе и рисует.

Ленуська и Вовка, судя по сваленным в раковину чашкам, только что отзавтракали и приступили к обучению канареек человеческим словам. Или хотя бы художественному свисту. Но птицы упорно отмалчивались, мечась по клетке и осыпая пол крохотными пёрышками и вышелушенным кормом. Кстати, я тоже ещё пока ни разу не слышал, на что способен тощий, с чуть розовой шейкой, слишком нервный кенарь. Так, попискивание.

- Чего они у вас такие пуганные? – Разочарованный Вовка напоследок проскрёб ногтём по решётке. – Какие-то никакие.

- С тобой и бодхисатва икать начнёт. Отойдите и затаитесь. – Микула осторожно поднял Ленуську, перенёс к противоположной стене, усадил в неубранную постель. – Тсс! Подождите минутку. И не шевелитесь, станьте невидимыми, как в разведке.

Ленуська послушно закуталась в плед с головой, так что только глазёнки из щёлки проблёскивали, а Вовка ещё некоторое время поубеждался, что его не разводят как маленького. Только когда мы с Микулой сами утвердились в роли истуканов с острова Пасхи, он очень неспешно пристроился меж нами на краю верстака.

- Сейчас такой концерт будет... – Микула предвкушающе сощурился.

Врывавшееся в два окна солнце по-хозяйски размашисто делило всё на светлые и тёмные полосы, так что попадавшая в разграничье мебель казалась состыкованной из разных сортов дерева, а безжалостно высвеченные дорожки пола краснели от выявленного мусора и пыли. День стремительно набирал цветную и звучную плотность, и вслед за лучами в приоткрытые окна вцеживались радостные запахи обсыхающей после ночного дождя зелени. Освежённая и вновь прогреваемая, земля благодарно возвращала небу излитую в неё силу, воздевая блестящие яблоневые ветви, топорща осочневшую траву с распускаемыми узелками и свёрточками цветков.

Кенарь терпел нашу затаённость, терпел, и не выдержал. Крохотное тельце его задрожало, головка опрокинулась, глазки прикрылись, и в ответ на солнечное излишество зазвенел, зажурчал, завитийствовал гимн пташьей любви. «Фити-фити-фити-ти... ти-ти-ти-ти-ти... тити-фиу...» – и всё выше, выше! Самочка, замерев на соседней перекладке, то одним глазком, то другим горделиво оглядывала на нас: «это он обо мне, обо мне», а мелкого пернатого Паваротти буквально разрывало несоразмерностью переполнявших его чувств и набором возможных для него звуков: «фити-фити-фити-ти... ти-ти-ти-ти-ти...»

- Вот герой. – Микула пригладил Вовкину чёлку. – А ты его как какого-то попугая: «Кушать хочешь?», «Кеша хороший»!

Мальчишка вывернулся из-под неожиданной ласки, прыгнул с верстака:

- Тормоз он. И мяса в нём мало. Лимон с ножками.

- Ну-ну, побухти. Точно щелбана выпросишь.

- А кто такой «бух-и-слава»? Почему он икает? – Распарившаяся под пледом до алости Ленуська сама пыталась поправить свою причёску.

- Кто-кто?

- Ты же сказал: от Вовки «бух-и-слава» икать начнёт.

- Бодхисатва! Эх, ты, слухало! Ну, не дуйся: это такой божок у индусов и китайцев. Очень-очень спокойный. Терпеливый-претерпеливый. Но, думаю, наш Вовка и его бы достал. – Микула обернулся раньше, чем распахнулась дверь.

На пороге, трудно вглядываясь в нас после уличного света, замешкалась невысокая молодая женщина. Ладную фигурку вкусно обтягивали чёрные блескучие бриджи и белая

водолазка. Коротко остриженные волосы морковно-розового цвета ожимала узкий обруч солнцезащитных очков.

Ленуська мгновенно нырнула под плед, а Вовка задвинулся за Микулу. Мать? Анка-Решето?

В полной тишине женщина сделала несколько замедленных шагов и остановилась перед обеденным столом. Чуть качнулась, но удержалась, оперевшись кончиками пальцев. Опять медленно оглядела присутствующих. Меня царапнуло тусклым взглядом с, действительно, какого-то антично правильного, красивого лица. Только начинающийся запойный отёк ещё не придавил веки, и роговицы бессмысленно сухо темнели глазными пустотами – как выемки на гипсовых слепках с древнегреческих статуй. Мёртвые круглые впадины, ровно-серые, без чёрных зрачков и белых блёсенек.

- Что? Материнства меня лишит? решили? Вовка, ты где? – Стеганул сиплый голос, но дрогнувший, было, мальчишка тут же вышагнул навстречу:

- Ты чего сюда припёрлась?!

- Молчать! Ты как так с матерью? Немедленно марш домой! Я тебе, гадёныш, там всё объясню. Посинеешь, засранец. А где Ленуська?

- Анна, ты бы присела. – Микула упредительно выставил меж всё ближе сходящимися матерью и сыном стул.

- Молчать! Не смеете моих детей забирать!

- Да никто об этом и не думал.

- «Не думал»? Кому ты втираешь? Знаю, о чём вы тут сговорились. Добренькие? Жалеете? Уже всё без меня за меня порешили? Где Фомич? Я его... эту вашу мать Терезу! А не сама, так мужик мой уже откинулся, скоро заявится.

- Анна, чушь не пори. Садись, я тебя чаем напою. Тебе покрепче? – Микула, как мог, изображал доброго доктора из фильмов про психушку.

- Лучше на бутылку дай. Я потом верну, только напомни. – Она всё же опустилась на краешек стула, и, ссутулившись, вдруг забормотала в пол срывающимся шёпотком:

- Да чума на вас, на всех холера! Да что б вы все засухотились! За что мне такое выпало, в чём вина моя, в чём проклятие? Что ж за жизнь мне за такая? Говорила мамка дурочке: не езжай ты в этот город, не нужна Москва девчоночке. Почему я не поверила?

Анка причитала всё громче, с требовательной жалостливостью. И из-под пледа послышалось ответное подскуливание. Но тут, увернувшись от перехвата Микулы, Вовка подскочил к матери и, брызжа слюной, закричал ей прямо в лицо, прижимая к груди кулачки и часто притоптывая ногами:

- Завела свою шарманку! Завела! Я всё равно с Фомичом уеду! Уеду! И Ленуську заберу! Ненавижу тебя, ненавижу!

- Ах ты, гадёныш! – Мать наотмашь шлёпнула сына ладонью по щеке.

Мы едва растащили их – Микула, прижимая за плечи, удерживал матерящуюся Анку на стуле, а Вовка, шипя диким котёнком, дёргался и царапался у меня на груди. Ленуська откинула покрывало и ревела в полную силу.

Вот в этот момент в комнату и вошёл Модест Александрович:

- Что у вас тут происходит? – Голос директора, даже негромкий, всё равно – голос директора.

Не знаю, уж кто и что смог бы на этот вопрос ответить вразумительно, но почти у всех присутствующих, точнее – участвующих в действиях, на элоквенцию не нашлось ни сил, ни желания. Поэтому я даже с некоторым злорадством выслушал, куда изысканного джентльмена направила запойная разнорабочая. Последовала пятисекундная немая сцена.

- Так. – Без улыбки лицо Модеста Александровича выглядело много естественнее. – Так.

Он легко повернулся, вышел на крыльцо, и – скороговоркой в приоткрытую дверь:

- Николай, в ваших обязанностях следить, чтобы по территории музея не бродили посторонние. Выпроводите всех – мне здесь скандалы ни к чему. Я сейчас позвоню, пусть

с этой семейкой разбираются компетентные органы. Давно пора отдать детей под надзор. Мы больше терпеть не можем, так чтобы духу этих бомжей здесь не оставалось.

Теперь немая сцена тянулась не более двух секунд.

- Доченька моя, родненькая, никому тебя мамочка не отдаст. Ни в какой детдом, не бойся. Никого не бойся, маленькая моя, кровиночка. Любого зубами загрызу. – Анка-Решето и Вовка шагнули к Ленуське одновременно. Я поспешил перехватить мальчишку, прижал к себе, но тот и не вырывался. Более того, Вовка сам всё сильнее вцеплялся в меня, больно вонзая в руку и спину ногти: спрятавшись лицом мне в грудь, он беззвучно рыдал. Я осторожно гладил неожиданно мягкие волосы, дожидаясь, пока пересилиятся давящие его всхлипы.

- Всё. Решетниковы, на выход. – Анну опять качнуло, но она удержала Ленуську на руках. Бесслёзно сухие кружки роговиц слепо обвели комнату, упёрлись в Микулу. – Колька, так у тебя есть выпить или нет? Нет? Ну и козёл. И Фомичу своему передай: пусть линяет, пока жив.

Так они и пошли по уже просохшей дорожке – чуть покачивающаяся мать с дочкой на руках, крепко обнимающей её за шею, а за ними, приотставая и демонстративно гордо глядя только в небо, сын.

- Дойдут?

- Да не домой они! Тут недалеко одна тварь палёнкой и наркотой приторговывает. Анка у этой ведьмы на постоянном крючке. Эй! А плащики? И зонтик! – Микула рванул догонять.

Я ж для успокоения чувств неспешно покурил на крылечке, вернувшись, помыл посуду, собрал-сложил ребяческие постели. И присел, как Алёнушка, у окна. Уже чувствительно захотелось есть, но Микула не возвращался.

Кенарь, попривыкнув к моей неактивности, запел снова. Только теперь эти «тити-тити» никакого восторга ни у кого, кроме его желтой возлюбленной, не вызывали.

Потерпев ещё с десяток минут, я решил преодолеть предрассудки и пренебречь приличиями. Самовольно открыв холодильник, дерзко достал остатки вчерашней фасоли со свиной, отложил половину на сковороду, разогрел, разбил туда три яйца, замесил и уже в тарелке щедро раскрасил запеканку крупными каплями кетчупа. Эх, зеленушки б какой!

Наслаждение кулинарным изыском близилось к завершению, когда за дверями кто-то затоптал. Я срочно придал лицу вид прокурорности: ну, не мне же испытывать вину за приключившееся тайноеденье? Пусть оправдывается тот, кто столь надолго бросил гостя между Сциллой инстинктов и Харибдой этики. Однако:

- Доброе утро. – Надя с трудом протолкнула дверь. Встречно удивлённо оглядела меня. – Приятного аппетита.

- Благодарствуем. – Я привстал, и приглашающе развёл руками. – Милости просим к столу. Чем, как говорится, богаты...

- Нет-нет, спасибо. – Она кивнула в сторону лестницы. – А Коля?

- Даже не знаю, куда запропал. С час назад вышел и не вернулся. Может, хоть чаю?

- Хорошо. – Надя как-то обречённо прошла к столу, присела.

Я захлопотал около плиты, интуитивно разыскивая «приличные» чашки, заварку, сахар и хоть что-нибудь напоминающее «монпасье». Всё это время она молчала, так что постепенно затих и я. Этим воспользовался любвеобильный кенарь.

- Это он поскрёбывание ложечки воспринимает за голос соперника. – Наконец-то Надя улыбнулась со своей милой детской смущённостью. – Их так раньше на мещанских состязаниях понуждали петь.

- Всё-то ты знаешь.

- Я же дочь библиотекаря. Или библиотекарши, как кому удобнее. Из маленького-маленького провинциального городка под названием Городец. Есть такое деревянное

забыть в Нижегородской области, подле Рыбинска. Так что моё детство ты можешь легко представить. А ты любишь читать?

- «Читатель» – это моё второе имя.

- А как же «Стар»?

- Так то – воинское, внешнее. А сие сакральное, доступное лишь для посвящённых в высшие степени и градусы. Стоп, а разве ты не москвичка в восемнадцатом поколении с Тверской, Никитской или с Воздвиженки?

- Мы с папой вместе только четыре года. После маминой смерти.

Что произносят в этих случаях? «Простите, не знал»? «Примите соболезнования»? Первое пустое, второе запоздалое. Да, что ни скажи, а неловкости не затереть.

- У папы много лет была другая семья. Собственно, она и сейчас есть. Фиктивно. Они пока не разводятся, чтобы не делить имущество и не проходить прочие унижения. Так что в московской квартире проживают официальная жена и сын, а мы с ним тут.

- Надя, – я опять попытался вернуть косо пошедший день в утреннюю бодрость, – а кто-то мне обещал на сегодня экскурсию.

- Обязательно.

- Когда?

- Хотя сейчас. Просто хотела увидеть Колю. Но, раз его нет, а ты не знаешь, где он и когда вернётся...

Ого, у снегурок могут быть столь прожигающие взгляды!

- Знаю лишь только, что он вышел догонять детей Анки-Решето, забывших плащи и зонтик.

- И?

- И всё.

Почему-то мне не хотелось рассказывать о визите Модеста Александровича. Почему? Ну, надо ж было хотя бы попытаться завернуть этот закосившийся день. Вдруг закосившийся ещё не безнадежно?

- ...как уже мною говорилось, до 1834 года семья Поэта часто и подолгу проживала в своей усадьбе. Родитель его, убеждённый демократ, поощрял дружбу сыновей с детьми своих крепостных. С этих простых отношений и товарищеских игр с крестьянами и зачалась у Поэта любовь к лесным и полевым прогулкам, и вышла его главная на всю жизнь страсть – рыбалка. И в литературу вошёл он непревзойдённым пейзажистом, здесь, в усадьбе, научившись видеть и чувствовать природу России, как мало кто иной.

И, конечно же, с ранних лет Поэт много читал. Под учительством матушки и гувернёров он знакомился не только с французскими, немецкими и английскими авторами, но, главное, познал и прочувствовал поэзию Ломоносова и Державина, попал под очарование Пушкиным и Бенедиктовым, Батюшковым и Боратынским...

Я зачарованно тянулся за голосом, звучащим размеренно, с чётким произношением согласных звуков, с ясным тонированием эмоциональных и информационных фрагментов. Я покорствовал его заговору-мелодике как факирова змея, лишь вздёргиваясь последком сознания: да Надя ли это? Та ли передо мной тщедушная снегурка-полуподросток?

- ...реставрированная Александром I Благословенным Европа, совсем ещё недавно рукоплескавшая войскам-освободителям, казалось, забыла о благодарности и эгоистично замыкалась в своих меркантильных интересах. Спасённые Кутузовскими и Барклаевскими пушками королевские и императорские дворы, едва оправившись от ужаса и унижений бонапартизма, погружались в привычные интриги. Да и в самом Петербурге, пока победители дотанцовывали свой триумф, революционные токсины старцев-вольтерьянцев по салонам, клубам и гвардейским собраниям вновь травили умы юных неофитов трактатами о республиках и спичами о конституциях. Взращённые тайными обществами Рылеев и Пущин властвовали над думами, Пестель не отходил от зеркала, наслаждаясь

своим сходством с Наполеоном, свершено публично Якушкин «казалось, молча обнажал Цареубийственный кинжал».

А в характере Императора Александра в последние его годы происходили сильные изменения. Коснувшийся его свет Православия изгонял из души спиритизм, очищал ум Государя от паутины мистического романтизма. Его всё нарастающая набожность и направленное воцерковление тревожили царедворцев. О, если бы в высокосветских ложах знали, что ещё в 1819 году Александр тайно завещал корону и скипетр младшему брату Николаю! Тогда, очень даже вероятно, что его судьба повторила бы трагическую судьбу отца, убиенного Павла I. Но Бог даровал Государю возможность мирного упокоения – и церковное предание чтит его Томским старцем, ушедшим в нищенский молитвенный подвиг под именем беглого солдата Фёдора Кузьмича...

Обволакивающий звуковой поток менял громкость в совершенном соответствии с нашими перемещениями из узкого коридора в главную залу, из столовой в оружейную, в истопницкую, в лакейскую. Нет, правда, это – Надя?

После уже виденного антиквариата в директорской гостиной, выставочные экспозиции ничем особо не удивляли. Обстановка была в сём дворянском гнездовье явно никогда не стремилась ни к роскоши, ни к эффектности. Всё скуповато-уютно, скромно-удобно, без излишеств. Но приятно продуманно. Очень даже продуманно. Может, это была скромность флигеля, а вся барская роскошь пропала вместе с главным корпусом? Была разорена бунтарями и растащена мародёрами. Или, как там? – экспроприирована восставшим крестьянством. Да нет, любой дом, тем более усадьба – это даже в частном, в стороннем и второстепенном своём закутке всегда слепок со своих хозяев, со своих насельников, с их склада жизни, с их убеждений и стремлений, их желаний и, конечно, возможностей. Слепок внешний, материальный, но очень даже точно отражающий внутреннее, сокровенное, и для внимательного взгляда открывающий нечто, порой даже самими жильцами не контролируемое, порой ими таймое.

Дом мистичен в сути и ритуален по форме. Уже в своём построении он, как самая крохотная младшая матрёшечка, предельно упрощённо, но обязательно копирует всё за величайшей «первоматрёшкой» сотворения мира – от подполий-преисподних и фундаментов-утверждений – до крыш-небес с мезонинным окошечком в заусадебное инобытие. В архитектуре реализуется религия домостроителей, и даже в дальнем контуре католическое мировоззрение никак не спутать с даосским, а русский православный человек вряд ли бы смог даже вообразить себе плоские стены и крыши глиняных кубиков Ближнего Востока и панелек городских окраин. Кухня с очагом и спальня с ложем традиционно национальны, их родовая сакральность незыблемы. Гостиная же, наоборот, всегда отражает дух времени и моду. Двор с подсобками – местную географию, климат и ремёсла: на нём Черноземье или Беломорье, с землепашеством или рыболовством. А вот кабинет, место сосредоточенного уединения главы семьи и домоправителя, оттискивает в себе мельчайшие черты личности хозяина. Здесь сходятся, складываются, диффузируют и традиции, воспитавшие его вкус, и нрав, и характер, и мимолётные увлечения, и досужие интересы, и – конечно же! – профессия. То есть, здесь, как в кощеевом яйце, хранится судьба его хозяина, концентрируется вся жизнь дома.

Именно в кабинете Надя на какое-то мгновение умолкла, и я, вынырнув из-под гипнотичности её голоса, неожиданно прозрел: ничего себе – «провинциалка из маленького-маленького городка»! В приглушённом и подкрашенном законной листвой, переливчато-зеленоватом свете Надя, в накинутой на плечи белой редковязанной сетке и коричневом, по-институтски длинном платье, обрела свою совершенную телесную реальность. Точнее даже, значимость, осанистость, предполагающую от окружающих обязательную почтительность. Достойный рост, на длинной шее горделиво откинута головка с нетуго подтянутыми затылочным гребнем волосами... Да у неё и щёки-то порозовели!

- ...выведение обманным путём на Сенатскую площадь для цареубийства солдат подчинённых им гвардейских полков, показало степень морального растрепанности дворянства в самом ближайшем окружении трона. А последовавшие за тем расследования обнажили тайную, но истинную природу прикрывавшихся до поры гуманистическими и просветительскими общеевропейскими фартуками сатанинских сил, опутавших практически всю управленческую систему Империи. И тогда так рискованно вошедший на престол Государь принял на себя крест Удерживающего: «Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в неё, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божией милостью, я буду Императором»...

Надя продолжала просвещение, но я уже не тонул в её голосе, я уже, как опытный двоечник на уроке, только декоративно кивал, принимая цифры и факты в пол-уха. А сам дотягивал, дожимал пойманную накануне мысль: да, да! Это, конечно же, её дворянство! Благородство крови, в чистоте и тайне сохранённое провинцией. Конечно же, ни из какого она не снега, просто телесность её не принадлежит началу нашего двадцать первого века и потому в нём неясна. А вот среди предметов старины глубокой, среди вещей и вещей ручной выделки, куда как прочных и добротных, на фоне восковой черноты дубовых панелей стен и матовой ряби бронзовых багетов и подсвечников, посреди толстокорых книг, тяжёлых гобеленовых скатертей и серых зеркал серебряного напыления – она сама действительность.

- Надежда, – я осознал, что стою навтыжку, – а тебе не приходило в голову, что в музее время движется как-то иначе? Не то, что б оно тут останавливается, но ... кружит, петляет?

- Время? Петляет? – Надя непросто отрывалась от заученного гидовского текста. – Конечно. Да, думала, я много думала об этом. Мне кажется, – не смейся, хоть ты и человек механического склада ума, – всё равно, пожалуйста, не смейся, а просто поверь моей интуиции: предметы своей аурой замедляют или ускоряют время, и поворачивают. А в музее оно именно петляет, ты это хорошо сказал.

- Какие предметы?

- Мастерской работы. Гениального ремесла. Или с судьбой особой. Но только когда они сойдутся в каком-то определённом сочетании.

Мы заговорщицки разом закосили глаза на инкрустированный тусклым перламутром настенный барометр, украшенный медными штурвалом и якорем. Потом, так же одновременно – на висевшую под ним подзорную трубу. На чернильницу. На веер. И прыснули.

Неужели день выправлялся?!

Конечно же нет:

- Стар! Стар, это же реальная фантастика! Ты только прикинь, как круто! Обалдеть! – Я увидел, как Надя увидела отразившихся в моих глазах входящих. – Стар, ты чего? Почему не радуешься, не ликуешь? Почти месяц не виделась. Давай, сияй!

С Тиной я себя вести так и не научился. Полгода разной интенсивности встреч – и полгода непредсказуемостей. То она вся раскрыта настежь, порывисто нежна, податлива, а то вдруг колючая проволока – прихватывает и режет по живому, с наслаждением. Да ещё и смотрит на боль с холодным любопытством – словно это не я кровоточу. А на следующий день опять, как ни в чём не бывало, – ластится, не стесняясь окружающих. Поэтому я напрягся до камня в желудке.

Когда Микула вводил Тину и невысокого пухловатого парня, мне даже показалось, что с ними в кабинет Поэта втянулся прозрачно-сизоватый клуб пара, словно они прибыли из другого мира. Из другого времени точно. Но никакого запаха, кроме столь знакомого мне «опия», не уловил. Тина сразу потянула руки ко мне, а Микула шагнул к Наде:

- Они на экскурсию. Билеты купят за пятерых. Проведёшь?

Обнимаемый, я ответа не расслышал. Зато разглядел лицо второго экскурсанта: округлые чёрные глазки, короткий нос и большущие, какие-то фиолетовые губы.

Ему, наверное, уже лет двадцать пять. Только что от стилиста и прикид с иголки: красная футболка «Hugo boss», из-под голубых «Diesel»-ей по-чаплински развёрнуто выгибались носки жёлтых плетёных мокасин. На ремешке через плечо – лакированная тёмно-вишнёвая барсетка. Да, с такими всё ясно сразу: голдовый лаккик.

- Стар, так ты включился? – Тина дёргала меня за указательный палец правой руки. – Мы с мутер сняли тут недалеко на «Заветах» дачу, вчера только заехали, сидим себе тихо-смирно, чай пьём перед теликом, вдруг чуть ли не в полночь залетает дядя и с порога – ни здрасьте, ни как живёте! – в истерику, потому как его обидели некие молодые люди, которых он, по примеру Базарова, Рыночниковыми назвал, а в ответ «Фарцовщикова» словил. Прикинь! И я сразу же по описанию узнала тебя! Согласись: я – гениальна, крута, я мега-звезда! Ты столько дней шифровался, темнил, а я тебя с первого раза вычислила! Выспросила что-где-когда, Никита согласился подвезти – у него крутейший «сааб», и вот вхожу, смотрю: точно! Ты! Ты, Стар! Стар, ну как же я реально по тебе соскучилась. Хотя Прага – это вещь!

По ходу тирады Тина, не сумев оторвать мне палец и стянуть майку с плеча, полохматила темя, оценила на подбородке щетину, проверила на крепость пресс и опять повисла на шее. Я старательно отворачивался от Никиты, который поспешил заняться поисками чего-то в смартфоне.

- Аркадий Борисович – твой дядя?

- Дядя Кадя! По отцу. По родному, которого я совсем не помню: родичи развелись, мне всего год был. Раменов мне отчим, да разве ж ты не знаешь? Хотя он для меня фатер лучше всякого. При этом мутер всю жизнь дружит с дядей Кадей, он у нас главный семейный советник, без него ничего не происходит, не покупается, не отдыхается. И как прикольно, что вчера именно ты его ущемил. Но согласись, что я гениальней Агаты Кристи!

- Соглашаюсь.

Полдень уже вовсю распарил землю, от бывшего дождя не осталось и воспоминаний. Мы курили около крыльца втроём, поджидая, когда Надя выйдет с билетами и поведёт «группу» по маршруту, а вокруг по-вчерашнему зудели кузнечики, летали белые бабочки, за которыми неловко гонялась какая-то желтоватая трясогузка.

- А этот мишка-косолапый и есть твой знаменитый Микула? – Тина покрутилась, поискала глазами, куда бросить окурочку.

- Ты ж гениальна, всё знаешь. – Я забрал его и вдавил в свою пустую пачку.

- Да, я такая. А чего у него с этой? С белёсенькой?

- Любовь-морковь. – Не надо было мне пережимать в наплевательности к её тону, Тина любую фальшиночку чуяла мгновенно.

- То-то он так задёргался, когда мы вас застучали.

Надя и Микула появились как-то и вместе, и отдельно. То есть, «в одни двери», но каждый сам по себе.

- Для начала пройдёмте к месту разрушенного господского дома. От главного здания усадьбы на сегодня сохранился только фундамент. – На солнце Надя вновь утерjala половину телесности, но повелительность в голосе оставалась.

- ...род Поэта гордился своей, более чем трёхсотлетней, дворянской историей и заслугами пред Отечеством. Кроме служилых и художественно проявившихся, в предках числился и основатель нестяжательства, мученик и церковный писатель, святой Нил Сорский. Прадед, дед, дяди и отец Поэта непосредственной службой и сердечной расположенностью были связаны с театром, музыкой и живописью. Поэтому в городском доме и усадьбе собиралось общество, в котором вопросы духовности ставились впереди вопросов материальности. Обсуждались перспективы панславизма и мистика монархизма,

выкристаллизовывалась суть национального самосознания, точнее – шло уразумение смысла русского исторического бытия, уяснение того, что судьба Россия уникальна, а сама она неповторима, и никогда не станет «новой голландией». Потому как она обитель и хранитель Вселенского Православия...

Мы послушно переходили от одного флигеля к другому, то сбиваясь в клин на главной дорожке, то вытягиваясь цепочкой на боковых. Палило нещадно, прямо с зенита солнечный обвал прижимал, давил и крушил всякое себе сопротивление, так что сжатые до неприличия тени жалобно таились при корнях деревьев. И я боялся, что наш немного зимний гид собьётся и приостановит, прервёт ток своих слов, и сразу же почувствует, что никакой информации о Поэте и его детстве особо не увлекает. Но нет, ко входу в музей мы вернулись без запинки. А Тина с неё просто глаз не спускала.

- ...Российская империя только-только начинала реформы, которые в разной воле и с разными возможностями продолжались и Александром II, и Александром III. России ещё долго и трудно предстояло самоопределяться, самообразовываться. Но, главное, что в тридцатые годы девятнадцатого века она начала возвращение к себе...

Я не вошёл с ними. Не потому, что не хотел на второй раз прослушивать утренние тексты, хотя и не стала бы Надя чужим людям пересказывать то, что рассказывала мне. Просто срочно затребовался небольшой тайм-аут на собирание мыслей, так широко размётанных последним полчасом.

Какой косячный день. Какой косячный! И это фантастическое появление Тины. Ну, запредельно фантастическое. Москва, с миллионами и миллионами встреч, столкновений и расхождений, с наработанной защитой неузнавания, не ожидания увидеть в метро или на проспекте знакомое лицо, с автоматическим предварительным отсеиванием всех случайных впечатлений и любых контактов, Москва, не рефлексирующая ни на танки, ни на панков, прячущая в себе надёжнее всякой непроходимости лесов и дикости гор, вдруг так выдала меня! Нет, это не фантастика, случайностей ведь не бывает. Это судьба.

Провидение. Фатум. Рок.

Но зачем?!

Мы с Тиной сошлись изначально неправильно. В «Золотом драконе» по поводу наступления учебы замесилась немалая студенческая тусовка, на которой у меня был свой сердечный интерес – Катя-Катенька Сергованцева. И интерес тот казался взаимным. Стеснившись в три пары у квадратного столика, мы пригубляли, танцевали, дурачились. И целовались. Громыхавшая вокруг нас тамтамами жизнь искрила и пенилась. И именно Катя, вдруг выгнувшись, откинувшись за кольцо моих рук, закричала, замахала в гремющую и слепящую светозффектами мешанину:

- Тина! Ти-на! Сюда!

- Что есть «тина»? – Я совершенно не желал её выпускать.

- Вален-тина. Моя одноклассница и соседка по лестничной клетке. Она сейчас в Первом медицинском учится.

Тогда она мне нисколько не показалась: обычная платиновая блондинка с сильным морским загаром, ну, миленькая, глазастенькая, ну, с длинными ножками да на шпильках. Больше того, при её приближении Катя окончательно высвободилась и даже чуток от меня отсела. Поднадувшись, я исподволь наблюдал за этой непредусмотренной Тиной, наружно делая вид, что мне в этом вечере всё теперь фиолетово. А та сходу себя повела лидерски – нога на ногу, резюмирующий тон: «это кульно», «там креатив», «тут авитаминоз». И самое обидное было то, что все, даже те, кому пришлось стесниться, высвобождая местечко, почему-то во всём ей поддакивали.

По второму разу мы встретились во дворе Катиного дома на «Менделеевской». Я вышел из подъезда, около которого Тина выгуливала по газону что-то лохмато-мелкое. «Привет-привет». Чего бы ещё? «Что за порода»? – «Денди даймонд терьер». – «Мышей ловит»? – «Да это полноценная охотничья собака!» – «Что вы говорите? То есть, у вас

есть тапочки в виде медведей, и он их давит, давит, давит! Ну, ты, брат, монстрррр». Походило на то, что Тина со своим денди даймондом до того момента и не подозревали, что в мире существуют наглецы, смеющие их подкалывать. Иначе чего они так разом рассвирепели? Я успел отпрыгнуть, иначе или собачонка или хозяйка отгрызли бы мне штанину. Положим о том, что Тина непуганая, я уже знал, но кто б меня просветил, что и эта, обессмерченная самим Вальтером Скоттом, истинно шотландская порода «не боится никого, на ком растёт шерсть»? Откланивался я уже из арки.

А через пару дней мы с Тиной одновременно втиснулись в старинный клеточный лифт. Она с пакетом обновок, я с розами. «Это ей или мне»?

И закрутился роман.

Затайфунился. За-водо-воро-тился.

Ах, Катя-Катерина, Катюша Сергованцева... Двустворная дверь в углу просторно-гулкой лестничной площадки сталинского дома чернела ненужным напоминанием о том, что первые розы я носил направо.

А теперь?

Что теперь? Что я теперь?

Не хочу, ненавижу быть лузером. Не желаю, что бы хоть кто-то, хоть каким краем почуял, уловил, даже на секунду, на йоту заподозревал, что я неудачник!

Дойдя до ворот усадьбы, постоял. И не удержался, выглянул. Впритык к забору калился полированными боками новейший золотистый СААБ. 9-5. Тачка не для молодых. Папина или мамина? Фирменные белые чехлы на подголовниках, на панель выброшена белая же салфетка. Мамина. А на чём тогда папа? Полный авитаминоз.

Навстречу с крыльца спускались провожаемые Микулой экскурсанты. Тина что-то нащупывала на дне своей сумочки:

- Мы уезжаем, Никите уже пора, иди, собирайся. Предки на это лето дачу сняли вместительную, есть отдельное гостевое бунгало. Давай, давай, бегом за вещами! – От давешней восторженности ни следа. Она всегда меняла настроение одним щелчком.

- Не могу. Тут завтра ... событие.

- Стар, скорее: Никите ещё в Москву, а на Ярославке скоро такие пробки начнутся, до ночи не проехать.

- Я, действительно, не могу.

- Да что такое-то? – Тина на миг оторвалась от нервного ворошения сумочного содержимого.

- У меня завтра день рождения. – Микула широко сшагнул сразу с двух ступеней, накрывая нас примиряющей улыбкой. – Приглашаю! Приезжайте, а? Тут всего-то две остановки, Стар с электрички встретит. Пообедаем чинно, а вечером на озере костёр пожжём, попоём и покупаемся под луной. С русалками познакомлю.

- А с водяным?

- С ним в первую очередь.

Тина затянута повела взглядом по окнам музея.

- И почему «нет»? Пусть встречает.

- Это кто был? – Микула двинул засов по пазу, качнул ворота для убеждённости. Или для физической разрядки. Я сейчас тоже б какое железо подёргал, уж поотжиматься тело срочно требовало. И душа поподтягиваться.

- Тот самый, в пальто. Очередной воздыхатель.

- Скромный что-то. По-моему, рта не раскрыл.

- Просто дыхание несвежее.

Шагах в двадцати перед нами дорожку пересекла Надя, спешившая из музейного флигеля в домашний. Микула даже не дёрнулся, словно не заметил. Только старательней

сощурился – солнце ярилось всё так же свысока, но уже чуток встречно. Да-с, косячный день едва-едва переваливал за середину, и до вечера, похоже, собирался ещё попарить.

Меня во второй раз потревожило чувство голода. Интересно, а как это некоторым удаётся со вчерашнего ужина не бурчать? Что, у них какие-то неизвестные мировой науке анатомические особенности?

- Стар, ты смейся-не-смейся, а я, если сейчас не проглочу чего, то просто загнусь.

Ага! То-то же! Ради ускорения процесса мы заварили упаковку выколупанных из морозилки древних пельменей, для отбития запахов и привкусов щедро засыпав бульон «вегеттой».

Насыщались молча. Горячее запивали настоявшейся с утра заваркой.

- Пойдём, по подушечке придавим? – Микула счастливо зевнул.

- Умно. И вполне актуально.

Однако задремать в сухотной духоте под раскалившейся до беспредела крышей не получалось. Внешняя жара множилась на внутреннюю маяту. Повертевшись, я сполз вниз, поскитался по кают-компаниям и обрёл некое облегчение на крыльце, которое до середины притенял блестящий эфирной испариной куст сирени.

Ни ветерка. Из населявших Землю видов жизни этому, похоже, радовались только насекомые. Чешуйчато и перепончатокрылые лихо рассекали загустевший воздух, вступая в поединки и любовные связи, членистоногие и головогрудные стремительно перебежали от укрытия к укрытию в поисках своего букашкового счастья. В чём оно у них? Сытость, безопасность, размножение.... Всё по папане. Вот точно так его люди без веры. Бегают, летают, нападают, прячутся, бьются за еду и самок. Только с эмоциональными оценками: кайф, уныние, блаженство, гнев... Ах, да, есть ещё и интеллектуальные развлечения – игровые удовольствия высокоорганизованной материи: власть, слава, гордость. Честолюбием многое мотивируется. Ну, а потом смерть. Черви. Корни. Пыль.

Папа! Да если ж смерть всему человеку конец, решительный и бесповоротный, если она такая абсолютная пустота небытия, то в чём же тогда для человека смысл всего, что он до неё? В чём смысл его рождения, роста, взросления, старения? Его, человека, устремлений и жертвенности, ущемления своей и чужой алчности, ярости, похоти? Да, да, конечно: «добрая память» грядущих поколений – благодарность правнуков за обеспечение их материального благополучия! Но это имеет ценность лишь при дикарском племенном, при примитивном коллективно-родовом сознании, а вот мне лично, после моей личной смерти, если я не верю в инобытие – в моём личностной пустоте мне ж на всё остающееся после меня плевать! Для меня лично оно всё без-смыслен-но. Так как безчувственно.

В светло-соломенном костюме, в белой рубашке и в белых дырчатых ботинках, побалтывая бежевым ридикюльчиком, – я не то чтобы не узнал, а как-то не сразу поверил своим глазам, – Хома Брут вышагивал настоящим Богданом Фомичом Карачуном. И почти улыбался.

- Какой день, молодой человек, какой солнцедар!

- Здравствуйте, Богдан Фомич! «Кругом царили жизнь и радость».

- О, вас посвятили в девиз местного ордена.

Он легко присел ступенькой выше, растёр лицо:

- В электричке распарило, придремал. Ну, и что тут без меня сотворилось?

- Сотворилось. – Я щёлкнул зажигалкой, подождал, пока он прикурит. – Ребятишки у нас ночевали. За ними мать приходила. И директор в этот момент заглянул.

Хома устоялся на свои указательный и средний пальцы, меж которыми по склейке лопнула сигарета.

- Получился скандал. А что потом, знает Микула, он ходил провожать.

- Предупреждённый вооружён. Спасибо, молодой человек. – Оторвав фильтр, Хома несколько раз коротко затянулся, чуть прикасаясь губами к топорщащимся табачинкам. – Alea jacta est! И как же всё ладно-то выходит! Как промыслительно.

Пошарив за спиной, он притянул ридикюль, со стоном-выдохом поднялся и вошёл в дом, оставив меня недоумевать – прав я или не прав в своём столь скоропалительном ябедничестве. Наверное, надо было как-нибудь помягче. Подготовить, попредисловить. Подстелить соломки. Хотя он, судя по всему, мужик не хлипкий, без анаболиков терпеть должен.

Потомившись в самооправданиях минут пять, я услышал из-за неплотно прикрытой двери голоса.

- И что ты советуешь? – Похоже, Хома чем-то перекусывал. – А, главное, кому ты это советуешь?

- Да разве я смею? Только, панове, себе-то ответьте: с кем вы бодаетесь?

- Эх, молодой человек, молодой человек, не важно с кем, а важно за что.

- И за что?

- Разно. Бывает, что за убеждения, за справедливость. Бывает и за льготы. И за ...

- И за амбиции. – Микула раздражённо громыхнул по мойке чем-то железным.

- Из-за необходимости оказывать помощь в ней нуждающимся!

Пауза. Я осторожно, сомневаясь в нужности обнаружения своего присутствия, сдвинулся за переместившейся тенью и поудобнее протянул ноги.

- Не надо меня жалобить к самому себе. – Хома заскрёб ложечкой. – Мне и так тошно. Но не потому, что тупиково или мутновато впереди, а потому что вдруг осознал, как возраст поджигает. Тебе, Микола, сего пока не уразуметь. Ещё не скоро ты сможешь понять, почему самому обычному человеку самое обычное, самое рутинное дело в какое-то самое обычное утро вдруг да и становится даже не то что б не по силам, а в лом. Вдруг не-охо-та. Не лень, а без надобности. То бишь, силы на исполнение есть, а на возжелание, на самозадание нет. Но это обычному человеку, нормальному. Со мной же загвоздка: мне сорок семь, вот-вот век преполовиню, давно пора какие-никакие итоги подводить, а я что-то всё планами и проектами фонтанирую. Каждое утро бодр, словно только-только жизнь начинаю. От сего оптимистического избытка и стал я самому себе подозрителен: может, это некая разновидность инфантилизма?

Опять пауза. Я представил самоуверенно откинувшегося на спинку стула Хому, дырявящего своим холодно-ехидным взглядом спину насуплено молчащего Микулы. То ли чистящего лук, то ли разбирающего оттаявшее мясо.

- Из этих симптомных подозрениях, а не из чего иного, и решился я на крайние меры по изменению своего бытия. Пора мне заканчивать с моим юношеским эготизмом. Давно, конечно бы, пора, но, уж лучше поздно, чем так и не возложить на себя бремя ответственности. За приучённых. Короче: вчера повстречался я с давними друзьями, потолковал, и берут они меня на Соловки в бригаду, столяром на реставрацию. Всё, друг мой, сейчас, тут, прямо на твоих глазах, я пишу заявление на увольнение по собственному желанию, в две-три недели закругляю дела, собираю вещи, и – *На дальнем Севере моём Я этот вечер не забуду*. И тебя, Микола, не забуду, твоей за меня искренней и трогательной тревоги.

- Так это на Соловки Вовка с Ленуськой бежать собрались? С вами?

- Почему бежать?

- Потому что так он сегодня матери заявил.

- Да нет же, не бежать. Совсем даже не бежать. – Хома уже не вальяжничал. Его голос стал одновременно и звонче, и тише. – Я, и правда, хочу предложить Анне вместе с детьми попробовать начать новую жизнь. В новой обстановке. Я буду только помогать.

- У неё запой начался.

- Закончится.

- И не факт, что она согласится. Даже скорее всего не согласится.

- Не решай за других. Здесь ей безнадежно, излечиться никаких шансов, никаких. А там остров, монастырь. Там ребятишек можно в людей вырастить.

- А отец? Ленуськин отец?

Пауза, затем скрип резко сдвигаемого стула и приближающиеся шаги.

Я вскочил и метнулся навстречу. Хома с порога недоуменно оглядел меня, дёрнул щекой и отступил:

- Входите, молодое поколение физико-электронного рационализма!
- Только после вас. – Ответно посторонился я.
- Входите ж, вы, информационные аналитики и системные коммуникаторы, нам-то спешить уже некуда, мы, романтики интуиций и адепты вдохновений, уже везде опоздали. Всё же он позволил себя пропустить.

За полтора-два часа мы с Микулой порезали и замариновали свинину на шашлык, начистили картошки, намыли и расфасовали фрукты-овощи, разобрались с одноразовой посудой, скатертями и салфетками, обсудили решения Собора об обязательном крещении в полное погружение и об открытии приходов без священников, заклеили коррупцию и бескультурье власти, поспорили о перспективах исламских революций. И расслабились за чаем.

- Стар, ты помнишь Гошу Рыбалкова? Из «б»?
- Конечно. Он с Валькой Тверской дружил, и в Гнесинку поступал. На гитару или домбру.
- Да, а сейчас, после армии, он в Свято-Тихоновском на юрфаке. Я его на Глинских чтениях встретил – представь: лысый и совсем круглый. Колобок. Но колобок военный: в камуфляже, в гриндерах – чистый скин с антифашного плаката.
- Надо же. А был интеллигентный юноша. До чего людей милитаризм доводит.
- Служба быстро учит Родину любить. Тем более, он же на Кавказе побывал. Не в самой Чечне, но где-то там.
- Понятно, хлебнул.
- И, при этом, у него подруга – японка!
- Так не азербайджанка же.
- Всё равно не правильно. Соратники на «акции» могут с таджичкой перепутать.
- Не, скорее с якуткой.
- С чукчей.
- С корячкой.
- Или корячинкой?

Чего-то не смеялось. Может, прогуляться? Солнце уже поуспокоилось.

- Пойдём! – Микула всегда был как-то излишне лёгок на подъём. – Я тебе коттеджик Жанны Олеговны покажу.

И мы неспешно побрели по садовым переулкам.

Заборы, палисадники. Палисадники, заборы. Старые штакетные, поновее дощатые, и совсем свежие из гофрированного металла. Дома в соответствии: чёрно-бревенчатые с резными мезонинами и наличниками, брусовые под крашенной вагонкой, кирпичные с косыми мансардами. И всё солидно, на круглый год, без временок.

- Первые участки здесь при Сталине выделялись старшим офицерам-фронтовикам под застройку. Потом к ним добавились железнодорожники. В семидесятые через дорогу открыли профилакторий для лёгочников, обслуга селилась здесь же. Нынешняя публика, понятно, невычислима. Ну, и грачи налетели – Кавказ, Средняя Азия. Даже пара негров завелась.

Покойность давно и накрепко устоявшегося посёлка своей дремотной сытостью просто провоцировала выкинуть что-нибудь легкомысленное. Как-прежне-мальчишеское: раздражить собаку покрупнее, нарвать альпийских цветочков, наконец, завандалить по гаражу граффитью. Ну, правда, нельзя же так неопасливо относиться к двум молодым человекам, не знающим чем себя занять!

- Я тут себе маршрут отработал: «СССР как изначальный импульс реализации личности на четырёх сотках». – Микула, похоже, не просто не сочувствовал моему

коллективно-бессознательному дионисийскому настрою, а, наоборот, жаждал чего-то противоположного, чего-то аполлоно-софисто-эмпирического. – Дачное Подмосковье – это ж естественная реакция на полувековую искусственную – по культурным, научным, политическим или экономическим мотивациям, концентрацию представителей всех этносов всех краёв великой страны Советов. Тюрки, славяне, угры, монголы, прибалты и прочие дети юристов – в Москву съезжались от Поморья до Приморья. И что каждый приносил в столь лакомый, но, одновременно, и агрессивный мир столичного мегаполиса? Свой национальный психотип. И земляческий характер, своё отечество. Помнишь: отчина – наследная земля, которая тебя кормит, отчизна – земля, в которой похоронены твои отцы, а отечество – земля, на которой вырос, и по которой тебя отчествуют: псковитянин, хабаровчанин. Но, если национальный тип вполне реализуем внутри новообретённого жилища, в интерьере гостиной и на кухне, то сформировавшая эту личность земля-отечество ищет выражения в ландшафте и в архитектуре. Что мы конкретно и наблюдаем: дачное Подмосковье – подробнейшая модель бытия народов Советского Союза.

Действительно, правый, углублённо прятанный меж разросшимися вишней и яблоней, небольшой домик являл яркий пример южнорусского характера: белокрашенный под мазанку, с синими ставенками и плосковатой крышей, он и имитирующим виноград плющом, и пугалом в круглой соломенной шляпе поминал Ставрополье или Тамань. Даже тощенькая ёлка над туалетом острилась почти чинарой. А напротив через дорогу из-за плотного острозубчатого забора с глухими воротами под двускатным покрытием высоким углом остро засекал небо чердак с замысловато выпиленными узорами и пышным двойным «солнцем» над полукруглым мезонинным оконцем. Судя по крыше, единой для дома и дворовых пристроек – это был миниатюрный Архангельск.

- Ха! А ну-ка уверь меня, что в том замке живёт не барон Людоед и не герцог Синяя Борода? – Я злорадно ткнул указующим перстом в обложенное декоративным розовым камнем трёхэтажный сарайчик со всяческими лепными псевдоготическими прибабасами и диснеевско-мультикшной башней на углу, увенчанной огромным жестяным петухом. – Или укажи на карте, где в СССР находится историческая родина Белоснежки, Чудовища и Микки Мауса?

- Увы тебе, злорадный нигилист и язвительный скептик. Ты, завистливо пытаешься осмеять чужое гениальное открытие, на свой позор оказался прав. Именно в этом замке живёт барон.

- Да? И откуда же родом, из какой местности? Из-под Кенигсберга?

- Из-под Житомира, естественно.

- ??

- Почитаемый местными суеверами Синей Бородой за постоянные неудачи в браке, Саша-Маклер – он же Исай Адольфович Канторович, подрабатывая мелкими биржевыми играми, уже много лет все деньги тратит на свой бжик – арийское происхождение. Он где-то выкопал себе остзейского барона-прадедушку, чуть ли не родственника Унгерну, и посему терпеливо разводит постоянно чахнувших и дохнувших борзых, носит всё кожаное, курит трубку, вечерами под органные записи раскладывает пасьянс и пьёт глинтвейн подле гигантского камина, в котором можно запечь минотавра. А все стены в замке украшены пластиковыми и фольговыми макетами рыцарских доспехов, секир, мечей и щитов с гербами. И шкурами.

- А портреты? Портреты предков есть?

- Гм. Нет, никто не видел. Так как его остзейство, скорее, всё же не мания величия, а избавление от комплекса неполноценности, то Саша, думаю, и в зеркало-то не глядится.

- Ну, да. Папа-то у него – Адольф? Как пить дать, был рождён в оккупированной зоне, там еврейских детей, бывало, немецкими именами называли, надеясь на защиту. Так что, действительно, классика Юнговой теории: предки за войну набоялись по-полной, вот

теперь сыночка и тянет самому других пострадать. Только чего у него с жёнами? Душит и хоронит под башней?

- Не. Даже не бьёт. Но они, как правило, через месяц-другой после свадьбы сбегают куда подальше. Даже без претензий на алименты.

Мы с пониманием дела прошли мимо «нечерноземья» и «прибалтики», «харбина» и «башкирии», минули «немецкую деревню» и, завернув за «молдавию», остановились перед русским модерном начала двадцатого века.

На два тона сероштукатуренный особняк с какой-то сложно-конструктивной, серой же черепичной крышей, своими двумя рядами больших заоваленных и сверху и снизу окон смотрел на окружающее прищельцем не из географии, а из истории. Характерные для сецессии протяжно-витые линии с вкраплениями разнородных орнаментальных вставок-орденов, маленькое мозаичное панно с павлином и девой над входным портиком, вычурно кованая решётка крыльца, фонарный столб в виде ливанского семисвечника. Сирень, белая акация, туя и шиповник... Я враз заболел этой красотой и гармонией.

- Жанна Олеговна очень интересный человек. Начитанна запредельно. – Микула заговорил-забормотал как-то и для меня и себя одновременно. – Я порой перед ней просто проседаю. Понимаю, что она бросает мне какие-то цитаты, какие-то, как ей кажется, всем известные фразы, в ожидании ответного посыла. А мне надо добежать до энциклопедии, заглянуть в словарь. В её смысловой пинг-понг только Модест Александрович играет на равных, а у меня никакого диалога никогда не получается.

- Ну, есть же и другие способы общения.

- Энергетика? Нет, она очень закрытый человек. То есть, она тебя слышит, иной раз просто чувствуешь, как сканирует, насквозь просвечивает, но, при этом, сама совершенно непроницаема.

- Думаешь, занималась? – Я семенил почти наперёд затылком, не в силах оторвать взгляд от серого островка эстетизма, несуетно тонущего в соседские пышные плодово-ягодные полезности.

- По крайней мере, как-то зашёл разговор о Михаиле Чехове и его актёрской школе в Голливуде. – Микула осторожно отнёс меня к обочине, пропуская встречную кавалькаду молоденьких велосипедистов в каких-то хохлядских жёлто-синих майках и шлёмах. – Так она тогда много интересного об его разработках в биомеханике поведала. О технике биоритмического создания артистом нужного ему образа. Когда уже не просто оболочка – лицо, манера говорить, сопеть или походка некоего героя копируется, а жизнь его нервно-сосудистой системы.

- Крутая тётка. Я-то решил, что она о красоте только за деньги болтает, а она, эту самую красоту, реально делает. Наглядно.

- Вот-вот, а ты на неё с кулаками набросился.

- Бес попутал. Думал – просто заевшаяся хозяйка мира. Ну, типа: сначала была красива, теперь стала богата. Всё сытно. Много и многих повидала. И всё под ногами.

- Так что ж, за это её – камнями? Булыжниками пролетариата?

- Говорю: бес попутал. Бывает, что накатывает ... протестное.

- И часто?

- Со стороны виднее.

- Ты совсем перестал молиться? – Голос у Микулы вдруг подсорвался, хрипанул.

Что было ответить? Что, вообще, нужно отвечать на такие вопросы? Я подпрыгнул, сорвав с возмущённо откинувшейся ветви зелено-костяной шарик будущего яблочка. Покрутил, протёр, набирая на пальцы пыльный воск, и запустил в неведомо куда.

Неведомо где откликнулось громким жестяным бряком и взрывом бешеного лая. Мы разом прибавили шаг, но параллельно нашему ходу под ударами лапищ невиданного зверя завздрагивали некрашенные доски. Судя по всему, рыком захлёбывался кавказец или среднеазиат, и ужас был в том, что по обе стороны забора мы вместе приближались к достаточно хилой и, главное, не запертой калитке.

Я рванул. Я побежал неслышно, едва касаясь земли кончиками пальцев. Микула включился сразу и, наоборот, замедляясь, затопал изо всех сил. А потом и сам стал бить ладошкой по забору. Пёс окончательно свихнулся. Он захлёбывался, скребясь носом, языком и зубами по доскам, пытаясь продавить ненавистное препятствие, хоть на молекулярном уровне просочиться сквозь четырёхсантиметровую древесину. И вполне возможно, что под таким его напором некие микрокапли слюны и крови достигали Микулиной ладони.

Захлопнув калитку, я подёргал её, уверяясь в надёжности защёлки. Yes!! Мы сделали это!

С подоспевшим Микулой мы заплясали-запели наше школьное: «Тополиный пух, жара, июль...». Мы кривлялись и петушили, подражая «интер-ванюшкам», а из-за калитки выло-вторило сошедшее с ума чудовище. Ну, просто праздник.

Как вдруг, откуда ни возьмись, на нас обрушились хрусткие удары увесистым пакетом. Бац-бац-бац! Крохотная старушонка колотила по нашим спинам, плечам и затылкам наполненным продуктами мешком со скоростью героев китайского фольклора.

- Ах, вы, мерзавцы! Ах, подонки! Гадёныши! Уроды! Кретины! Неделки! Я вам устрою, я вам покажу! Дразнить собачку! Да я вам все руки-ноги поотрываю! Подонки! Гадёныши!

Пока мы не забежали за угол, проклятия бомбили нас со всё той же кунгфушной скоростью. Да! Праздник удался по-полной!

Как часто меня заводит? Попутывает? Фиг знает, сколько помню, с раннего детства взрослыми я характеризовался как холерик, короче, был дёрганым. Может, если бы меня родители вовремя отвели на какой-нибудь серьёзный спорт, то я б уже стал мастером. Но на какой? Где нужна взрывчатость? Прыжки с шестом? Спринт? Дискобол? Однако мама в первом классе записала деточку на обожаемое ею фигурное катание. И промучилась два года, наработав у ребёнка устойчивое отторжение к слову «тренировка». Гаже звучали только позднейшие «сольфеджио», «специальность» и «музлит». Нет, после, в десятом-одиннадцатом классе я походил в бассейн, а эту зиму честно, до жёлтого пояса набивал косточки и изучал ката на «ЗиЛе» у Степанова. Но чемпионство мне уже нигде никогда не светило.

В чём бы ещё можно было умирить мой атом? Искусством? Но фортепьяно тоже довольно скоро и доходчиво объяснило, что для серьёзного творчества нужны каменные ягодицы. А удовлетвориться частушками или литаврами мне не позволяли амбиции. Ну, и что же мне теперь отвечать по поводу своих дёрганий? «Родители не раскрыли задатки формирующейся личности»? И оттого я не могу молиться? Да, действительно, не могу. Не знаю почему, но не могу.

- Она сейчас наверняка всех своих подруг обзванивает, – Микулу адреналинило, даже слегка потряхивало, – рассказывает о кошмарной, антигуманной молодёжи, о выродах, ненавидящих животных, о гнилых плодах демократии и вседозволенности.

- И о том, какие мы беспринципные трусы. Как подло побежали, едва она проявила гражданскую активность. Вот так с нами и надо, хватит нас терпеть!

- А чего? Я её, действительно, испугался. Ты помнишь, какое у неё было лицо? Ох, какое лицо! Она явно била нас за всех, за всё, и за Горбачёва, и за Ельцина.

- Лучше б калитку запирала.

- Но тогда бы не приключилось праздника.

- Твоя правда!

Предвечерье заполняло посёлок людьми и звуками. Подъезжая с города, жители бывшего СССР по-соседски перекликались, хозяйничали во дворах, кто-то стучал, кто-то демонстрировал музыкальные пристрастия. Обмякшее солнце благосклонно озидало человеческое копошение, розовая стёкла и румяная стены домов, прорезая дальние кроны

негорячими искрами. Этот особый покой предвосхищения ясного заката покрывал землю вместе с оседающим, уже чуть прохладящим воздухом высоты, и растворял, разжижал страстную деловитость дня. Сгоняя глобальные проблемы в телеэкраны, предвечерний покой заполнял освобождаемое сознание сугубо личным, семейным, выпуская из довременных укрытий уклоняющееся от излишней освещённости всё нежное, сердечное. Миро-любивое.

Постепенно подобрели и мы. Даже заиспытывали лёгкий стыд за невосстановимо погубленные собачьи и старушечьи нервы. Расслаблено дошагав до сворота к усадебным воротам, вдруг разом замерли перед крестом на месте бывшего домашнего храма.

Трёхметровое деревянное распятие удивительно светилось на фоне потемневших яблонь и тополей – ало-оранжево на сине-зелёном. Меж почти сомкнутых ветвей пологие острые лучи цедились, сочились вдоль узкой улочки-аллеи, через сто сорок девять миллионов километров неся памятному Кресту поклонную любовь от уходящего к другим странам и народам Солнца.

От Вселенского Солнца Русскому Кресту:

Придите, поклонимся Цареву нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареву нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареву и Богу нашему.

Микула неслышно пропал, оставив меня одного. Одного, клонимого, пригибаемого солнечным ветром, горбато прячущего лицо в ладони. И отчего я не могу молиться? Не могу. Не знаю почему, но не могу! Разве на это ответишь? Разве сейчас ответишь...

Солнце как-то в одно мгновение перекрылось неподвижной листвой, косо погасив свечение креста. Я отёр щёки и зашагнул за ворчливо скрипнувшие ворота.

Здесь уже совсем за вечерело, сад, пришедши в себя после дневного зноя, распустил ветви на всю длину, ловя чуть ощутимую волну свежести от всё гуще темнеющего востока. А вот покинутые пчёлами цветы наоборот, сникли, присели, готовясь ко сну.

Как можно медленнее я вышаркал главную дорожку. Справа – главный музейный корпус, в десяток больших окон, с барственным портиком-крыльцом. По левой стороне – два домика поскромнее. Мне в самый дальний. Поворот, плитка упёрлась в высокое крыльцо. Ну, поднимаемся? Или есть причины задержаться?

В кармане подёргался телефон. Да, эсэмэска, да, от Тины: «Скучаешь? Готовим с мамой пирог для твоего медведа Микулы») Скучаешь сильно?»

В уже светящихся окнах мастерской колышутся тени. Нет. Не могу. Не хочу ни с кем, ни о чём говорить. Никому ни на что отвечать.

Но куда податься? Где здесь песок для сования головы? Стоп! В беседку! Точно, в ту круглую, белокрашеную, с вьюнками по реечно-плетёным стенкам. С жёлтой медузой абажура над большим круглым столом. А, главное, со всех сторон укрытую сиренью.

Мы подошли одновременно, и, похоже, в одинаковом погружении, так как на входе практически столкнулись – я едва успел отшагнуть в сторону. Надя, застыв с большущей кружкой и крохотным блюдцем в разведённых руках, пару секунд посмотрела на меня, и запоздало ойкнула:

- Не ожидала. Ты тоже сюда?

- Уже нет. И прости, если напугал.

- Погоди. Правда, погоди!

Теперь в недоумении застыл я.

- Зайди, пожалуйста. Хочешь, я тебе тоже чаю принесу?

- Хочу. – Конечно же, хотелось не чая, а одиночества. Но, раз и здесь не спрятаться от вопросов-ответов, тогда:

– И сэндвич какой-никакой. Или бутерброд. Просто горбушку. Сухарик. Маковую крошечку.

Присев с противоположной стороны от оставленных кружки и блюда, прижался спиной и затылком к охлаждающей округлости опорного столба. Где-то там, прямо за зарослями, скупое краснел плоскими облаками фиолетящийся небосклон, с ярким желтком солнца над сизой сковородой горизонта. А за спиной, так же за плотной выгородкой сада, уже вздымалась упругая лазурь, готовая прорваться мельчайшими дырочками первых блеклых звёздочек.

Надо же, как можно точно видеть то, чего не видишь, если видел это уже несколько тысяч раз. И не видеть того, что видишь, если видишь это впервые.

Опять эсэмэска: «Ты где?! Спишь? Рано((»

Отжал ответ: «Я в самом себе. Поклон маме и до завтра беби*бай».

И отключил телефон.

- Вадим, я тебе колету принесла, с помидорным салатом. И пирог капустный.

- Даже страшно, когда тебя так ублажают. К чему бы сие? К худу или добру?

- Да, да, да! Баба-Яга Иванушку покормила-попоила, в баньке попарила и... дальше варианты: а) спать уложила, б) в печь засунула.

- Чувствую, мой вариант не «а».

Котлета была великолепна, и размер приятный. Надя, необязательно воркуя что-то про прогноз погоды на завтра и народные приметы, подождала, пока я опустошу судочек, сделала пару глотков чая. И приступила к варианту «б»:

- Вадим, ты тогда умолчал, что произошёл инцидент с моим папой.

- Ну, да. Так ты и так-то была не в настроении. Не хотелось дожимать.

- Спасибо. Ты чуткий. Но я должна попросить. – Она как-то судорожно подвинула мне своё блюдечко с крохотными печенюшками.

- Проси!

- Не суди его строго.

- Так ты для этого меня кормила-поила, да в баньке парила? М-да! – Смешок у меня вырвался не благодушный. И неблагодарный.

- Прекрати! – Надя, похоже, что и для себя тоже, неожиданно хлопнула в ладоши. – Ты же прекрасно понимаешь: я совсем не то хотела сказать. Пойми, да, папа сорвался, но сорвался по причине, которая многое извиняет.

Я пожал плечами: мне-то чего грузиться? Свои бы беды разрулить.

- Нет, ты, пожалуйста, выслушай! Пожалуйста.

Хорошо. Раз понуждают сидеть на месте, тогда хоть закурю. Надя выждала, пока я прошуршу целлофаном сигаретной пачки, пощёлкаю зажигалкой, затанусь. И лишь после затяжного выдувания тонкой струйки дыма, продолжила уже спокойно, тихо, даже чуть с холодком:

- По кадастру девяносто третьего года музей лишился прилегавших к нему земель, входивших в охранно-заповедную зону. Но узнали мы недавно, когда вдруг объявили, что весь луг, по самый наш забор, до самого берега продан под строительство коттеджного посёлка. Всё вокруг уже продано. И теперь разговоры об охране памятников и о защите водных ресурсов просто колыхание воздуха – суд подтвердил законность сделки. Но папа не сдаётся, он готовит апелляцию. Собирает письма в поддержку от других музеев, от творческих союзов, от общественников. Сделал запрос от депутатов Думы. Папа решил добиваться правды и не отступит, это в его характере.

Я опять пожал плечами.

- Нет, дотерпи! Папа всё делает открыто и по закону, а в ответ получает угрозы. Его просто-напросто тупо пугают! – Надин голосок возвысился, зазвенел, но громкости не прибавлял. – У нас даже собаку отравили. Не считая звонков, пожарных инспекций со штрафами, отключений света и воды. Даже ко мне подходили с угрозами.

- Кто? Где?

- На станции.

Пришлось сменить позу. И постараться не дымить на присевшую рядом Надю.

- Сторож, из местных, уволился. Сказал, что жизнь дорога. Вот папа и упрасивал Хому, ну, Богдана Фомича, не уезжать, не бросать его одного. Ведь можно ожидать всего каждый день, каждую ночь. Выкрадут документы – и всё, заново не соберёшь.

- Ну, Микула же ещё есть. А документы надо сдать на хранение. В банк.

Надя, полуприкрыв глаза, кивала:

- Да, Коля есть. И сдаём. А всё равно, это получается предательство.

Если бы предателем был не Хома, а предаваемым не Модест Александрович.... Интересно, а для судей личные симпатии что-то значат? И я зафинтил:

- А что есть предательство?

Как же она на меня посмотрела! Глаза в глаза, да с расстояния в тридцать четыре сантиметра, не более.

- Я понимаю: вопрос Понтия Пилата. Но всё же? Не конкретно, а вообще.

Такой взгляд выдержишь не более десяти секунд. Но я вынес двенадцать.

- Вообще? – Она, наконец, откинулась, отпустила. – Вообще, это нетерпение. Нетерпение трудностей. Искушений, боли. Нежелание скорбей.

- А разве не купля-продажа?

- Это потом, после. Но в начале – нетерпение.

О, если бы предателем был не Хома, а предаваемым не Модест Александрович...

- Я где-то прочитал, что если терпение скорбей не ведёт к покаянию, оно приводит к озлоблению. И что ж тогда лучше: злоба или слабость?

- Перестань! – Надя опять опустила взгляд, – Зачем ты так? Ничто не лучше, но...

- ...но! Вот именно «но»! – Теперь я уже заглядывал в неё. – Хома попал в вилку и сделал выбор. Он, конечно же, предаёт, предаёт! Но он предаёт сильного, чтобы остаться верным слабому.

Надя не выдержала и пяти секунд:

- Ты просто отчего-то не полюбил папу.

Классный аргумент. Ну, не мог я не ответить:

- А чего мне его любить, он же не мой, а твой отец. Имею право.

- Нет, у тебя не равнодушие, у тебя явная неприязнь. Меня в первый же момент вашего знакомства это ощущение кольнуло.

- При чём мои симпатии и скандал с детьми?

- Хома предаёт не папу, а дело. Ради себя, ради своего личного, он предаёт общее дело. Я тебе объясняла, объясняла, а ты всё равно.... Прости, что время отняла.

- Это ты прости, что не полюбил того, кого не полюбил.

- Зря ты так.

Мы встали одновременно, и я успел перехватить Надино правое запястье:

- А у тебя с твоим папой всё всегда сладко? – Я крепко, но осторожно удерживал её лёгкую, как птичье крыло, ручку. – Полное доверие и дружба?

Надя ногтями левой руки заотковыривала мои пальцы.

- Полное. Доверие. Дружба.

Отогнула мизинец, безымянный.

- Мы. С ним. Одной крови.

- Голубой? Соболезную.

Высвободившись, она заскочила за стол и как-то по-детсадовски бебекнула:

- Да ты просто мне завидуешь!

- Ну, конечно! Благодаря ему – ты дворянка. Столбовая.

- Благодаря ему я – это я.

- О, да, ты – ты. И всё благодаря-благодаря.

- Завистник!

- О-ё-ё-ёй. – Я угрожающе двинулся вокруг стола за отступающей Надей.

- Да, такая вот я благородная, умная, красивая, элегантная и скромная.

- Всё благодаря-благодаря! О-ё-ё-ёй!

- Завистник. Завистник. Завистник.

Мы зашли на второй круг, но тут совсем как-то неожиданно меж нами вырос, и сам немного растерянный, Модест Александрович. Не глядя ни на кого бормотнул:

- Слышу голоса, подумал: вы веселитесь с Николаем. А вы... Ты ещё долго? Или пойдём?

И вдруг в ответ:

- Пап, мы ещё не договорили. Немного. Хочешь посидеть с нами?

- Нет уж, вы беседуйте. А я, пожалуй, лучше немного прогуляюсь. – Всё так же, не поднимая глаз, Модест Александрович развернулся, перешагнул порог. И через плечо:

- Да, и о чём же вы, если бы я остался?

- Тут меня уговаривали поработать у вас в музее сторожем. До сентября.

- Не стоит беспокойства. Справимся.

Рассевшись по первоначальным местам, молча поскребли ложечками в пустых чашках. Судя по всему, в эти минуты солнце сошло в иные миры, и видимая в зазоре между кронами и беседочной кровлей небесная блеклость стала быстро набирать синюю густоту. Догоняющий сворачиваемый закат ветерок шелестнул по макушкам яблонь. И навстречу остывающему эфиру из травы робко потянулись крохотные усатые женихи-комарики.

- А кто тебе угрожал?

- Не мне, папе. Передай, мол, что бы он не делал глупостей, здоровье побережёт.

- Я же спросил – кто?

- Машина поравнялась, в приоткрытое окошко меня окликнули по имени. Стёкла тёмные, кто, я не разглядела. Ладно, пойдём-ка мы домой, похозяйничаем до сна.

- Спасибо за котлету! И пирог.

- На здоровье. До завтра?

- Бай.

Надя бочком, придерживая подбородком стопку посуды, выскользнула из беседки. Я закурил и, навалившись грудью на ограду, попытался додуть дым до стайки толкущихся в брачном танце комариков. Вспомнились утренние бандюги, ведущие на работу таджиков. Блин, как всё хрупко! Как незащищено. И ручка у неё тоненькая, косточки, точно, птичьи.

В мастерской сумрачно, тепло и совсем уже сонно, только из-под двери Хомя выплёскивались приглушённые всполохи эмоций какого-то политического телешоу. Я осторожно проскрипел по лестнице. Комнату подсвечивала большая, красного стекла лампада перед окладной иконой «Тихвинская».

Микула в майке и джинсах лежал поверх покрывала, накрыв лицо домиком белого журнала, и на моё появление никак не среагировал. Ещё более осторожно я проскрипел кроватью. Спит – не спит, но общения не желает. Впрочем, взаимно.

Но не успел я разнежиться, как на столе заверещал будильник. Микула быстро сел, быстро отжал кнопку, но всё равно проклятый рефлекс мгновенно выдавил из сознания всё нежное и сладкое. Я тоже сел.

- На обход пора. Прости, что сдёрнул, надо было звук убрать, вибратор оставить. – Микула, натягивая носки, вяло извинялся, а я поднял упавший «Наш современник», полистал, просмотрел оглавление.

- Ты на ком тут уснул?

- Не спал я. Задумался.

- Глубоко, однако.

- Однако было над чем.

- Слышь, возьми-ка меня с собой. Я тебе не помешаю?

- Да чем? Пошли, попробуем заново сон нагулять.

Микула, включая и выключая здоровенный фонарь, громко шурша то ветками, то гравием, шагал вдоль забора, нисколько не стараясь походить на пограничный дозор или

разведку. Я, пытаюсь не оставить глаз на каком-нибудь суку, семенил позади, всё больше сетуя на свою инициативность. Ну, да, барышня накрутила с бандитами, вот и побоялся товарища одного оставлять, без прикрытия. Вдруг что именно сегодня? Как потом людям, а главное, Наде в глаза смотреть? Так хоть бы музей на подобные случаи какой-нибудь мушкет выделял. Или фузею.

Мы обошли весь периметр ограды, осмотрели ворота, проверили замки на сараях, мигающую сигнализацию главного корпуса, но кроме далёких петардных хлопков, бледными вспышками отмечавших чужой праздник, да отвратительно немзыкальных кошачьих разборок ничего не отметили. Знакомо выводила свою трель малиновка, ей с пруда откликался тоже бессонный коростель. Микула неожиданно повернул вглубь, я за ним, и мы косой тропинкой вышли на пустырь с усадебными руинами.

Низкая красная луна вползла на верхушки яблонь, но на свободный полёт никак не решалась. И не стесняемые звёзды рассыпались по небу во всей своей разноцветной радости. Млечный путь высеялся до мельчайших брызг, там и там дышали туманности, мерцали солнца и лучились планеты, упорной искоркой полз спутник. После Москвы-то, с её вечной рыжей фонарной мутью, от такого щедрого великолепия у меня даже немного закружилась голова. Вот она, Вселенная, рукой подать!

- Эх, Микула, какой же ты счастливый! Живёшь в такой берендеевской красотище, занимаешься своим собственным делом. И ещё влюбился в самую распрекрасную из всех снегурочек. Ну, пожалей меня, завистника, расскажи, что у тебя не так?

Он как-то ссутулился, резко поставил зажженный фонарь под ноги. Узкая полоса света взъерошила траву, фактурно зацепила недоразобранную кирпичную кладку.

- Что «не так»? А завтра мне двадцать два.

- И?

- Пора планы планировать.

- Вперёд!

- Ладно, ещё год доучиваться, после диплом, потом, думаю, сразу в аспирантуру.

Но это всё отговорки. Это всё внешнее. Внутреннего плана нет. Большой, турбинной тяги.

- Женись.

- Не пори чушь. Оклад младшего научного сотрудника – семь с половиной тысяч.

- Да не такая она девушка, что бы по баблу сохнуть. Надя – чудо! Покрутишься, похалтуришь. А получишь степень, станешь доцентом, тогда всё выправится. Докторская, профессорство с кафедрой. Симпозиумы, загранпоездки. Госпремия...

Чего меня кололо? Наверное, это бы мне хотелось сейчас такое выслушивать. От кого-нибудь. Сказочно-утешительное. Партийно-предвыборное. Только в моём-то случае не было Нади. ...Забавно, которая внешне Микуле совершенно не пара. Со-вер-шен-но.

- Заткнись ты! – Микула взвёл кулак. Я даже отпрянул.

- Что ты городишь? Стар?! – Он поспешно спрятал руки за спину. – Или только у тебя хрень во всём? Да у меня абсолютно самое. Понимаешь ведь, что подвиг нам нужен, подвиг! Сверхусилие, прорыв мы должны совершить. Страшно ведь так дальше тупить – у молодых никаких перспектив, если предки не обеспечили. А я с матерью в однокомнатной хрущобе. Страшно: задохнёмся мы все, здоровые, неленивые, с головой, и задохнёмся в этой беспросветной лжи. И никто нам не поможет. Такое отстойное время. Пошлой, подлой!

- Я уже давно согласен пару старушек-процентщиц зарубить.

- Ну, перестань же ты кривляться! Просто нельзя жить без страны. Без Родины. Раньше можно было куда-нибудь в Сибирь уехать, в Академгородок, науку делать. Или ещё дальше – города, мосты ставить, плотины. Но как-то себя реализовать. Я же способен, я готов любую лямку тянуть, терпеть любое, лишь бы впереди светило. Да только теперь по жизни только лакейство продвигает, только лизоблюдство. Одни проститутки в голдах. Везде, повсюду. Ну, нельзя, неправильно такое терпеть. Позорно. Оскорбительно. Мы, молодые, не должны под это гнуться.

- И кто эти «мы»? Ты да я, да мы с тобой? Оглянись: каждый надеется сам на себя, надеется, что он, уж как-нибудь, да проскочит. Сам, безо всякой страны и Родины.
- Неправда твоя, есть люди. Вменяемые. Завтра познакомлю.
- Брат мой, Микула, напомнить ли слова отца Александра: любой революционер – всегда антихрист. Или что?
- Ладно. Прости. Мне через пять часов двадцать два года стукнет.

А луна-то всё-таки всплыла, оправилась от красноты и залучилась, сгоняя звёзды к северу. Почти полная, она в полупрофиль смотрела на мир свысока грустными морщинами-глазницами, точь-в-точь как поручик Лермонтов на своё поколение: «его грядущее иль пусто, иль темно»...

- ...ради Пречистая Твоя Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. – Микула закрыл молитвослов и замер, приложив его ко лбу. Я выдержал паузу и вострубил:
- Тааа-татата! Тата! С днём рожденья тебя, Николай Игоревич Повитухин! Сегодня весь мир будет напряжённо следить за тем, как станут разворачиваться события в некоем подмосковном музее. Именно сюда съедутся тысячи высокопоставленных гостей со всех континентов, чтобы поздравить замечательного человека, спортсмена, отличника и просто красавца с его ... почти что юбилеем. Цветы и подарки, улыбки и воздушные поцелуи покроют героя сего дня... лавровые венки и розовые лепестки... а пока прими такой вот скромный дар от студента. – Я протянул флэшку на тридцать два гига.
- Спасибо! Спасибо! Ты первый и потому очень во время: нам пора приступить к водным процедурам.
- Тааа-татата! В тута.

Сглотнув звуки и свет, вода приняла в себя, унеживая прохладной податливостью. Неспешным брассом двигаясь посередине лёгко изгибающегося пруда, я смотрел на сходящиеся стенки камыша, на ладошки-листья ещё не расцветших кувшинок, и опять ждал – а не качнёт ли волну вынырнувшая девичья головка с озорно зелёными глазами и синими локонами, подпёртыми смутно просвечивающимися грудями? Ах...

После купания знакомой дорожкой мы бодренько топотали к плотине. Микула за моей спиной чего-то нервзил, непривычно суетился, по-мелкому угодничал. Стыдился приключившейся давеча откровенности? Не стоило, на то мы и друзья. Однако он никак не мог обойтись без извинений за вчерашнее, и на первом же удобном повороте навалился на плечо:

- Что, брат Родя Раскольников? Топор наточен?
- Чисто конкретно, брат Алёша Карамазов. У нас-то всё схвачено. А вот ты не перепутай – в какой руке у тебя псалтырь, а в какой – коктейль Молотова.
- Микула отстал. Немного посопел и забурчал уже без суеты:
- Я ж вчера сорвался ещё и потому, что как раз Веру Галактионову дочитал, роман «Спящая печаль». Ну, депресняк полный. Мне когда-то её насоветовали как христианскую писательницу, и я тогда доверчиво так её «Пять четвертых накануне тишины» проглотил. И запал в уныние. Кое-как выгреб и зарубился: всё, такая жесь – не моё чтиво. Однако, вот, зачем-то опять взялся.
- А чего она? Вся в кровище и мертвяках?
- Да нет, вроде, не вся. В болячках больше. Понимаешь, она совершенно гениально атмосферу создаёт, как Достоевский. Или Леонид Андреев. Потрясающе звукоязыды тянет. И, правда, вроде как о Боге то и дело поминает. Но атмосфера-то получается совершенно не православная, даже антиправославная: у неё наш мир забыт Богом, насовсем забыт. Так, наверное, его воспринимали старокатолики, когда от них силы в протестантизм утекали. Прикинь: вокруг плотская суетня, наглый по-юному рынок, примитивизм с капитализмом

всё подряд чмокают и чавкают. А они затворились в пыльных готических темницах, облепленных чудовищными химерами, слушают вой ветра в органных трубах, бледнеют, худеют, кашляют, но благородно и красиво всё новое отрицают и порицают. И о том, что в своей брезгливой гордыне они и сами ровно столько же безблагодатны, как окруживший их мир жлобства, ну никак не подозревают. Уныние, уныние до отчаянья.

- Тебя это чем зацепило?

- Говорю ж – магия звука. Она гениально атмосферу этого уныния создаёт. Вот и подсел, как на наркотик.

- И ...?

- И ещё в её романах самая суть родителей поймана. Их совковый стопор. Вот, вроде ж материализм ни на кого давно не давит, государственно никого не прессует, а у третьего поколения советских людей внутри уже необратимая пустота. Галактионова, понимая то или нет, но абсолютно точно выписала: её поколению уже не принять Христа, им уже просто нечем. Нечем Его познать, услышать, у них в душах какие-то органы атрофировались. Точно перед ними «Стена» Андреевская.

- Атрофировались? Да не у них, гораздо раньше – у дедов-прадедов! А мой папаня сразу родился без этих органов. Напрочь, даже без рудиментов. И с ним в СССР каждый год по два миллиона таких появлялось. Сами ж себя называют «детьми кукурузы».

- Не нагнетай, дитя индиго. Моя мать, хоть и дочь замполита, а воцерковилась.

- Одна-две, ну, десять тысяч на поколение! На всё! А остальным-то какая, на фиг, благодатность? Какой там Промысел, какая-то такая забота Бога о созданном мире? Да им плевать, зачем Творец единственного своего Сына послал на мученичество и смерть! Кого тут искупать? Из какого рабства греха? У них уже в принципе вопросов о духовности не встаёт. Одна только социальная справедливость да политическая оппозиция в черепках. Теперь, правда, под выборы ещё угнетённость русского народа прихлобучивается. И где, какая пыльная готика?

- Так именно в их безблагодатной «справедливости»! В именно готически стройной схеме их социалистической утопии равенства и братства, но с пайковой иерархией. Они ж верили в строение коммунизма, исповедовали марксизм-дарвинизм, и сталинские семь высоток – чистая готика со всеми её шпилями, витражами и скульптурой! Именно верили, до самопожертвования. В рукотворный рай телесный, в который каждому можно будет без преобразования войти. Без душевного обжига, без Суда. Чисто мозговым убеждением.

- Или понуждением. Неубеждённых.

- Да. Точно!

- Им только вечную жизнь на Земле оставалось сотворить.

- Клонированием. Овечка-то Долли на место Агнца проталкивалась.

- Точно. Да!

Достигнув консенсуса, мы достигли и усадебных ворот.

Которые подпирала обшарпанная вишнёвая «восьмёрка», на своём немалом веку явно повидавшая разного. Микула вдруг как-то подтянулся, развернул грудь, радостно зачеканил шаг. А встречно из машины выбирались и выстраивались по росту и старшинству четверо гостей.

- Здравствуй, брат. С днём рождения. – Водителю под тридцать, высокий и очень худой, выстрижен налысо, но с лёгкой прозрачной бородкой-лопаточкой.

- Здравствуй, брат. – Трижды расцеловавшись, Микула перешёл к следующему – едва ли старше нас, но тоже с бородой. И тоже в рубахе навыпуск – а не старообрядцы? – Здравствуй.

- Здравствуй, брат. – Микула обнялся с третьим гостем – камуфлированным белокрысым крепышом с крохотным армейским чубчиком, а на десерт его поцелуев ждала смущающаяся молоденькая девчушка. В джинсах, но в платочке по-православному.

Я сторонне выждал, пока они вдосталь на приветствуются.

- Познакомьтесь: это мой друг и одноклассник Вадим. – Микула призывно помахал мне. – А это Олег и Михаил – братья Былины. Саша, Александр Парфеньев. И его невеста Настя.

Мы тоже троекратно обстоятельно перецеловывались с каждым представляемым, только девушке я с полупоклоном пожал крохотную ладошку.

- Мы тут к тебе с подарочком. – Из багажника появилось закутанное целлофаном эмалированное ведро. – Это караси, ещё живые, ночью сеть ставили. Пожарим в сметане.

- Какие вы молодцы, что всё-таки смогли заскочить! Пойдёмте, пока что, чайку попьём. Только, Олег, машину бы надо перепарковать, проезд освободить. – Именинник своим ликованием возбуждал у меня лёгкую ревность. – Стар, ты отведёшь всех в кают-компанию? Воду поставишь, а я забегу к Наде, договорюсь насчёт экскурсии.

Олег сел за руль, завёлся и, не закрывая двери, сдал назад. С вишнёвого капота живо скалилась чёрная собачья голова. Или волчья? Нет, уши великоваты.

- Кенарь-то поющий?

- А то! Ещё какой поющий.

Братья Былины, Хома и я неспешно пили чай, а Александр и Настя около мойки чистили удивительно одинаковых золотистых рыбин. Микула уже больше получаса где-то пропадал. Где-где? Ну, да, договаривался насчёт экскурсии.

- Кличут Лимончиком. Тоже авторитет в своём роде. Я его ещё птенчиком, совсем дохликом, выменял на пышного красавчика, и, вот, не прогадал. Паваротти отдыхает. – Хома самодовольно откинувшись на спинку стула, закачался на двух ножках. – Сейчас за него и денег предлагают, и целую семью слётков сулят. Но! Эгоизм мой беспределен, и свои интересы я всегда ставлю в центр мироздания.

- Эгоизмом-то лучше бы не хвалиться. – Из-под сошедшихся бровей Олег льдисто-светлым взглядом толкнулся в такой же прозрачно-серый Брутов. – Эгоизм нынче не оригинален, болезнь повальная, дешёвая.

- «Дешёвая»? – Хома, приняв вертикальное положение, перестал раскачиваться. Даже руки на столе по-ученически сложил. – А извольте-ка объясниться, через что или же в чём вы этот самый эгоизм оцениваете?

- В душевных затратах.

- Это джоули или калории?

- Это вечерняя усталость от дневного противостояния миру.

И я, и Михаил замерли. В тишине только поскрёбывание-потрескивание ножей по чешуйкам: Хому поучали на его территории! М-да.

- А разве не эгоизм противостоит миру?

- Эгоизм противостоит Богу. Эгоизм, точнее эгоцентризм, – это мнение себя, как верно вы выразились, в центре мироздания. В центре! Какое же тут противостояние?

- Но мир-то на периферийность не согласен. Вот и боремся, осиливаем кто кого. – Хома опять откинулся и закачался, однако мило улыбаться не получалось. – А, позвольте, вы сами не из учителей человекам ли будете? Я имею в виду – не гуру Агни-йоги? Не сэнсэй Кен джитсу? Не начётчик Нетовских согласий?

- Нет, но за истину мы всегда готовы постоять.

- «За истину»? – Хома хлопнул ладонями по бёдрам. – Ну, тогда всё понятно: вы из истинно православных. Всё понятно.

- Что же именно вам понятно?

- Весь набор окружающей вас апостасии: жидомасоны, экуменизм, сергианство и обновленчество. Да, такому миру противостоять необходимо. Парии пусть на спасение бегут в катакомбы, в скиты и пустыни, а кшатрии собираются в эзотерические мистико-воинские братства.

- Можно тогда и мне поинтересоваться: сами вы атеист будете, или какой-нибудь традиции придерживаетесь?

- Крещён во младенчестве и с полным погружением. В Троицу, в Богородицу и святых верю, но в храм не хожу. Не испытываю тяги.

- Вот и нам понятно. – Олег заговорщицки кивнул брату. Тот с ложечным звоном отодвинул чашку на середину стола и, в знак терпения всего произносимого, опустил голову к скрещённым на груди рукам.

А Хома попался:

- И что именно вам понятно?

- Сами о себе засвидетельствовали: в рабстве жидомасонов, на службе экуменизма, единомышленник сергианцев и адепт обновленчества.

Стерпеть такое за собственным столом! От какого-то залётно зелёного! Нет, Хома – человек воли. Человечище воли. Хоть и не мог никак вернуть равновесие.

- А себя, молодые друзья истины, вы как характеризуете?

- Мы-то? Мы просто опричники. Псы Господни и Государевы.

«Фити-фити... ти-ти-ти... тити-фиу... ти-ти-ти...» – кенарь принял тишину за приглашение к пению.

Микула с огромным бумажным свёртком едва втиснулся в дверной проём:

- Простите, задержали. Подарок от директора, не откажешь.

Он осторожно поставил свёрток на верстак у окна и облегчённо метнулся к мойке:

- Да чего ж вы одни? Попили б с дороги чайку, потом с рыбой вместе разберёмся.

Саша привстал, смущённо пряча нож за спину:

- Ничего, мы с Настей быстро, мы умелые. Ещё минут десять.

- Как знаете. – Микула вернулся к столу. – А вы, надеюсь, не заскучали? Впрочем, Богдан Фомич не позволил бы. Более того, не обижал ли он никого без меня?

- Всё хорошо, знакомимся понемногу. – Олег с прищуром чуть-чуть ухмыльнулся, передвигая сахарницу Хоме.

- Да, действительно, понемногу. – Тот кивнул, передал её дальше Микуле.

Я со всё большим восхищением смотрел на Хому. Ну не испугался же он!

- Нам нужны лук, соль, если есть – сухарики. – Робко приблизилась Настя. – И масло. И сковорода побольше.

- А если пожарим на улице? – Вскочил Хома. – Там у нас газ, стол, все удобства, а запахи пусть соседи прочуют, порадуются нашему празднику.

- Как скажете. Мы здесь гости.

Выставив на площадке перед банно-прачечным комплексом пластиковый стол и газовую плиту с большим баллоном, Хома бодро и громко заруководил зажаркой карасей Настей и Сашей. Остальные остались в кают-компании конвейерно крошить овощи и прочую зелень на салаты, резать колбасу, сыр, сало и хлеб с последующим изготовлением бутербродов, делегировав именинника на варку из нескольких рыбин «пустой, но густой» юшки-ухи.

Работы для нашей бригады оказалось на полчаса. По ходу дела Микула и Олег негромко перебирали какие-то имена-фамилии, вспоминали что-то для них забавное, а мы с Михаилом едва ли обменялись парой междометий.

- Ну, вот, всё. – Я встал, смахнул в пустую тарелку сырные и колбасные крошки. – Выйду, подымлю.

- И ты, Мишаня, с ним прогуляйся. – Олег кончиками пальцев коснулся братова плеча. – Без табакокурения, конечно.

На крыльце мы не задержались. Михаил-Мишаня молча подождал, пока я прикурю, и так же молча пошагал следом по узкой дорожке к гремящей брутовскими велиречиями площадке перед банным комплексом.

- Помощь не нужна? – Я приклонился носом к выкладываемым в тазик белоглазым, в рыжих от панировочных сухариков хрустких корочках, умопомрачительно душистым карасям.

- Нон трэбэ. – Хома ревниво стрельнул глазами в сторону Мишани.

- Там гонят, тут гонят. Богдан Фомич, ну, хоть мух побить? Или мошек?

- Ладно. Сядьте пока.

Мы с Мишаней послушливо примостились около стены на милостиво указанных малюсеньких скамеечках. Пару минут Хома минималистски руководил производственным процессом, но затем природа взяла своё:

- Юные мои друзья! Хотя старшее поколение вам не указ, ибо окаменелые мы и не продвинутые, но! Не указом, а уроком послужить можем. Ибо есть некие грабли, которые не подлежат ни модернизации, ни утилизации, и из века в век наступать на них давно уже простая пошлость. Пока роковым выбором оказавшаяся в сетях рыба, согласно нашим действиям меняет свою природу, из красивой становясь полезной, поведаю я вам о природе неизменной, о почти вечных ситуациях и почти бессмертных персонажах.

Хома отёр полотенцем лоб и отошёл, чтобы хлопотавшие над сковородой Настя и Саша его видели. А мы, сидящие, слышали.

- Я расскажу вам про то, как в далёких восьмидесятых, когда я был таким же, как вы сейчас, недушным, меня тоже в некие опричники призывали. Стоп, молодые люди! Стоп! Давайте так: я говорю не долго, а вы терпите не много. Поучать никто никого тут не собирается, я вовсе не для самоутверждения воздух сотрясу, а для вашего же независимого права на жизненный выбор. Или вы в себе, в своей правоте не уверены?

Мишаня и Саша растеряно запереглядывались. Вот тут-то я и пригодился:

- Богдан Фомич, а это при Брежневе или уже при Горбачёве приключилось?

- При Андропове и при Черненко. В промежутке, точнее – на распутье Совдепии, когда бабка Ванга надвое гадала, куда мы пойдём – в Северную Корею или в Южную.

Хома, как умел, ласкал меня взглядом:

- Думаю, тут все люди грамотные и помнят, что Александра Васильевича Колчака на диктаторство в борьбе с большевиками благословлял архиепископ Уфимский Андрей Ухтомский. Архипастырь и человек он был бескомпромиссный, фанатичный в лучшем смысле: и при обновлениях, и в годы гонений стоял за истину неколебимо. Его духовные чада и собрались в Катакомбную церковь. Кстати, знаменитейший хирург святитель Лука Войно-Ясенецкий тоже его постриженник. По гибели владыки Андрея в тридцать седьмом, окормление катакомбников принял епископ Владимир, барон фон Штрюмберг. Вы молоды – это не укор, но как богоборческая власть давила и уничтожала немолящихся за неё, даже читать жутко. Через что тогда пастыри и паства проходили, сегодня не представить. И не надо. Нужно просто поверить: они святые, как один святые. Но вот в восемьдесят первом владыка Владимир отошёл в лучший мир. И тогда прямо в московской квартире, во время якобы туристической поездки, архимандрита Лазаря в епископа Тамбовского, точнее, всей России, тайно посвятил епископ Зарубежной церкви Варнава. С этого момента русские духовные катакомбы и стали перерождаться в политиканствующее подполье.

В те времена я, вот как вы сегодня, проживал самый романтический отрезок своей жизни. Хотелось и жаждалось чего-то очень-очень великого, чего-то вселенски значимого. Бессмертного. Вечного, то есть, мистического. Хотелось лично сразиться с грядущим антихристом. Тогда к двум проклятым русским вопросам «кто виноват» и «что делать», добавился третий: «а как делать»? Надо сказать, что в те времена ничего по православной мистике достать почитать было невозможно. По йоге и дзену, по медитации и левитации и там- и самиздат в любой интеллигентной кухне стопками лежал, а вот по христианству разве только Гессевская «Игра в бисер».

- Это же католическая мистика. – Робко вставила Настя.

- Читала? Вот сладкая умничка! Да, да, конечно, католическая! Я потому и сказал: по христианству, а не по православию. Но, даже если кто-то где-то и добыл бы на пару суток «Добротолюбие» или «Лествицу», то, всё равно, ничего оттуда вынуть не смог бы – без живого наставника никакое умное деланье невозможно. Поэтому Папюс, Блаватская, Рерих и Волошин были нашими учителями. Мы тогда всё знали про тамплиеров и суфиев, катаров и чань-буддистов, про Гиперборею и Шамбалу. Но эти «знания» вели лишь к индивидуальному продвижению, к личной «свободе», а хотелось-то дела общего, жертвенного. Ох, ребята, ребята! В молодости ничто так душу не рвёт, как ложь. Тупая, насилующая ложь. А страна тогда просто задыхалась во лжи, и потому мы все ненавидели совковию в её пошлости с «девяносто восьмью процентами» «за» на выборах, с тем, что «весь советский народ, воодушевляемый партией, идёт нога в ногу»! И потому мы не просто искали истину для себя, а хотели её на пользу всему человечеству. Но где она? В чём? У кого?.. Ко всему, нам же в те тоталитарные времена надо было наш, такой ещё мутный, такой ещё интуитивный патриотизм как-то камуфлировать, что б «всевидящее око» не сразу врубилось. Ну, не в ролевые же игры рядиться! Да и не было их тогда.

Я тогда работал столяром в одном КБ – конструкторском бюро при научном институте, вот у меня в мастерской народец по вечерам иногда и собирался – книжками поменяться, о высоком и запретном поболтать, просто выпить. Обстановка и богемная, и деревом пахнет, политурой. А чуть что – заказчики на халтуру.... Вдруг как-то знакомят меня с одним чудакom. На вид чистый Гоголь в период сожжения Второго тома: сутулый, тощий, глаз не видно, только острый нос в щёлке промеж грязных волос. Рекомендуют как «своего»: мол, недавно из психушки, где гэбэшники ломали. Ну, свой, так свой, места достаточно.

И стал этот «Гоголь» ко мне похаживать. Вдруг подарил Евангелие, да старинное, с ятями, потом иконку Царя-мученика, значочек с двуглавым орлом. А, главное, стал носить записанные на плёнки Жития святых. Были тогда такие катушечные магнитофоны со скоростью «четыре», так что одна плёнка с четырьмя дорожками записи прослушивалась за восемнадцать часов! Придёт, бывало, сунет подарочек, приткнётся куда в тень и сидит молча. Помолчит так, помолчит, да вдруг шёпотом: «Бросай ты медитировать! Спасение только в православии»! И бегом на выход. Что было отвечать? С одной стороны я уже во времени путешествовал, себя до сосудов видел, кое от чего людей руками лечил, а с другой – всё время спиной чувствовал, затылком, что это какие-то игры, что все эти мои видения какие-то не настоящие. Какие-то индивидуальные. А хотелось, что бы для всех. Потому Евангелие и плёнки своё дело сделали, и через пару-тройку месяцев я уже просто ждал появлений этого чудака.

Короче, понятно, что когда он, опять же шёпотом, предложил мне помолиться с людьми истинной, тайной церкви, я с восторгом согласился. Я ж о катакомбниках только слышал! И столько! Почти первохристиане. Исповедники и мученики. Но «Гоголя» самого опять в спецпсихушку засунули, поэтому по его записке встретила меня тётушка. Никакие катакомбы, конечно же, меня не ожидали, всё проходило даже и не в погребке, а не то чтобы в шахте. Собрались мы в самом обычном частном доме в Мытищах. Десяток стариков и старушек, две супружеские пары и пяток угрюмых парней в косоворотках. Эта угрюмость, как я потом понял, вообще являлась визитной карточкой «истинных». Службу вёл батюшка, средних лет, пухлый, какой-то весь мятый и тоже угрюмый. Отец Андрей читал и восклицал всё невнятно, мне показалось, что наспех. Да и старушечий хор тоже не доставлял эстетического наслаждения. Я тогда едва вытерпел онемение ступней и ломоту в пояснице, а благодати никакой не уловил. Но вот на последовавшей за службой «трапезе любви», то бишь, на застолье, народ словно бы подменили. Такие горячие славословия пастырю Олегу и архипастырю Лазарю, такие страстные проклятия масонской власти и её прислужникам, да с цитатами пророчеств и подробными приметами конца света! Я даже подумал, что это они для меня стараются, для новенького. Слишком уж истерично.

Но потом и сам заразился. Непримиримостью. От их напористости и мне вроде как всё стало понятно и просто: лево-право, черно-бело, плохо-хорошо, брат-враг. И, главное, вошло в меня уверенность, что Бог только во мне да в этих катакомбниках, а вокруг лишь крошечное зло разлитое. Жидомасоны, экуменисты, гэбэшники, а против них мы... Это сейчас смотришь на такую простоту, как на дичь, а тогда ненависть к апостасийному миру захлестнула всё. Ненависть ко всему совковому. Это такое состояние, когда каждая глупость, каждый промах или сбой системы воспринимались личным праздником. Рухнул спутник – радость, сгнил урожай – подарок. Так и надо совдепии! А что это для кого-то личная трагедия... То есть, от воспаленности ума при неразбуженности сердца за схемой людей не видишь.

Вот и завязался я с молодыми ипэховцами, насколько может повязать ненависть. Только как с этой ненавистью жить? Старики-то терпением довольствовались, стоянием в принципах, а нам жаждалось действий. И самых решительных. Но, прежде требовалось самоопределиться: кто мы такие? Русские крестоносцы? Христовы янычары? Чтоб далее организовать. В союз, дружину, орден... Короче, понятно: что бы мы не говорили о Голгофе и жертве за мир, как бы не обвешивались крестиками и иконками, но создавалось весьма очередное эзотерико-тантрическое братство.

Дорогие мои, вам ведь сейчас чудится, что вы первыми по земле идёте. Что всё, что вы сейчас переживаете, думаете, что чувствуете – всё это для земли ново и архиважно. И всем-всем интересно. И мы так думали! Что нам какие-то янычары и ливонцы, тамплиеры и хунвейбины, тантристы Шивы и чека Гурджиева? Те были неправославными, или вовсе антиправославными, ну а мы-то носители истины! Мы-то другие! И потому право имеем мир силой менять! Как у Николая Гумилёва в «Блудном сыне»: *Ты плачешь над грешным, а я негодую, Мечом укреплю я свободу и братство, Свирепых огнем научу поцелую?* Да, юноши почему-то всегда по отдельности – Алёши Карамазовы, ещё не решившие, чем мир перестраивать – Псалтырю или бомбой, но коллективно, в стае – уже только Родионы Раскольниковы. Право имеющие пару старушек грохнуть. Топором, но из самых духовных мотиваций. Ох, ребята, ребята, не верьте вы своей молодости! Подозревайте её. В неоригинальности. И бессердечности. Ведь эта ваша опричнина – она тоже лишь часть воплощения теории управляемого хаоса. Часть программы «разделяй и властвуй», когда в обществе «все против всех» – молодые против старых, бедные против богатых, столица против окраин, коммунисты против монархистов...

- Настя!! Ну, сгорело же!

- ...ой...

- Куда ты смотришь?! Блин! – Саша с размаху шлёпнул шипящей и дымящей сковородой о стол. Пара заугленных карасиков отлетела к нам с Мишей под ноги. – И что слушаешь?! Кого?! Блин!

Мы подскочили, готовые к спасению в искреннем ужасе спрятавшей в ладони лицо девушки. Однако Саша уже сам обнимал её и, утешительно оглаживая голову, плечи, осторожно отнимал от лица ладошки:

- Ну? Ну, что ты? Ерунда, полная ерунда. Что ты? Ну?

- Ты так закричал...

- Прости. Прости, пожалуйста. Ну?

- Она пуганая. – Мишаня шептал, не глядя на меня. – Ей двенадцать было, когда отца «звери» расстреляли. На глазах. Отец успел их с матерью из машины вытолкнуть и чуть отъехать. Бизнес отнимали.

Саша уводил Настю всё дальше, а мы, одновременно вздохнув, дружно склонились над загубленной сковородой. Эх, «тефаль», мы думали о тебе.

- Может, просто водой залить? – Мишаня осторожно потыкал пальцем ещё горячие головёшки. – Дать отмокнуть.

- Не. – Хома откачнул головой. – Поздно, бабушка, «боржом» пить, когда почки отвалились. Сплавилось.

- А если с содой прокипятить? – Вспомнил я мамин рецепт.

- Не. Теперь хоть песочком три. Покрытию всё одно каюк. – Хома бормотал чуть слышно. – Надо было на древней чугуняке жарить. Сплав железа с углеродом, хоть и менее ковкий, чем сталь, но для русской кухни самый надёжный. И безвредный.

Он, со скорбно поджатыми губами и сведёнными уголкем бровями, аккуратно закрутил газ, медленно-медленно оглядел двор, печально вздыхая, ещё более медленно уложил в мешок пяток не дождавшихся своей очереди вычищенных и выпотрошенных карасиков. Мишаня уже всем телом подрагивал, держа тазик с готовой продукцией на вытянутых руках, дабы не закапать её слюной.

- Пойдём? – Вздох.

- Пойдём. – Вздох.

Я взял погибшую сковороду и замкнул кортеж.

Микула и Олег уже на секретничались и нам явно обрадовались. Тем более, думаю, что Олегу не терпелось разузнать, что там его брату и подопечным Хома навкладывал. Понятно же, что такой не оставит обиду и попытается за спиной отыграться.

- А где Саша с Настей?

- Пошли прогуляться. – Мишаня водрузил тазик посередине стола.

- Что так?

- Личное. Скоро появятся.

Олег и Хома на мгновение опять толкнулись взглядами.

- Тут у нас излишек приключился. – Хома поднял мешок с непожаренными карасёвыми тушками.

Микула принял, взвешивая, покачал на вытянутой руке:

– Красавцы. Может, ушицу сварганим?

- Хорошее предложение. Очень даже хорошее. – Как-то вкрадчиво засоглашался Олег. – Давай, ставь воду, а Мишаня лучок почистит, картошечку.

Неужели Олег и Хома мирно усоседятся около плиты? Вот где бы поизмерять электромагнитную дугу, соединяющую максимально противоположные потенциалы. Но мне уже была пора бежать, бежать-лететь на станцию, встречать Тину.

Замедляясь, электричка опытно отработанным накатом проскользнула вдоль платформы и встала, подбрюшно загремев холостыми оборотами двигателей. Шипанули раздвигаемые двери, и из первого вагона дружно вывалила толпа «зайцев». Юные и не очень, они наперегонки помчались в конец состава, туда, где контролёры уже проверили наличие билетов. Каждый раз наблюдая эту картину, заново улыбаешься их многолетней игре в перегоняшки, где никто ни у кого не хочет ничего выигрывать. Ну, такой брызжет азарт от чутков экономящих за счёт РЖД, что его брызги невольно заводят и окружающих, переводя их из зрителей в болельщиков. А как не залюбоваться первокурсниками с новенькими тубами и пенсионерками с кошками и цветами, две минуты бегущими по перрону с восторгом детсадовской проказы? При чём тут жадность? Наше это, русское, скифское весёлое беззаконие. Да и контролёры тоже, не помню, чтобы записывали по поводу необилеченных.

- Ты на кого засмотрелся?

Тина прижалась со спины, боднулась лбом меж лопаток. Я, резко обернувшись, чуть не выбил из её руки большущий плоский свёрток.

- Ты! Осторожней! Мы с мамой вечер на него убили. Классный пирог получился. Держи аккуратненько. – Сегодня на ней была светло-жёлтая майка, приспущенная с правого плеча и обтяжные, чуть ниже колен, блескучие коричневые стрейчи. – Как я тебе? Стильная? Очки не поломай!

Нацеловавшись на первый слой, мы по выщербленным бетонным ступеням спустились с платформы к лесу. И, едва соприкасаясь кончиками пальцев, то расходясь, то

сталкиваясь, пошагали по затенённой могучими подмосковными елями тропинке, пьянея стекающим с хвоинок озоном. Шуршала редкая трава, гудели шмели, на полянках пересвистывались потревоженные птицы. Где-то вдалеке тарахтел дятел.

- Стой.

Тина притормозила, нервно заглядывалась знакомо мне мутнеющим взглядом.

- Давай здесь.

В такие моменты спонтанной и какой-то жёсткой страсти она меня как-то пугала. Нет, не то, что бы пугала, а ... давила. Попадая под всегда неожиданную атаку, я немного зажимался. Словно через её обесмысливающиеся неудержимым желанием глаза вдруг проглядывало чьё-то чужое присутствие. Холодное, угрожающее. Не могу сказать что точно, но именно чужое.

- Подожди.

- Чего?

- Давай не здесь.

- Здесь. Сейчас. Давай.

Уталкиваемый в хрусткую траву, я, как мог, удерживал на весу свёрток с пирогом.

- Ну, что ты делаешь?

- Что хочу, то и делаю.

- Подожди. Кто-то идёт.

- Не заливай.

- Точно. – Как можно сильнее прижимая одной рукой её соскальзывающее тело, я осторожно уворачивался от заводящих влажной напористостью губ, закосясь на какие-то, действительно, встречно приближающиеся фигурки.

Когда пара интеллигентно короткобрючных старушек, из-под полей одинаковых соломенных шляпок подозрительно внимательно рассмотревши нас, наконец, скрылась за поворотом, Тина рывком отстранилась. Взгляд вновь стал царапающе жёстким.

- Ты что-то, Стар, не такой.

- Какой «нетакой»?

- Вроде как бунтуешь.

Прикулив, она быстро пошагала вперёд. Лёгкая, стройная, ногастая. Плечи расслаблено раскачиваются, головка вздёргнута. Да, весь мир вокруг неё застыл на обочинах по стойке «смирно». И я некоторое время назад тоже бы закаменел. Некоторое время...

Тина шла не оглядываясь. Я тащился позади, виртуозно облетая пирогом траву и ветви кустов, и потихоньку утешался. Подумаешь, не по её получилось. А, собственно, в чём я виноват? В чём? Дело-то не в конкретности, а ... вообще. Понимает же она, ясно понимает, что нет у нас впереди чего-то, ну, нашего. Ведь как между нами сложилось всё в самый первый день, так потом и продолжилось. Без развития. Без роста – эдакое путешествие по беговой дорожке. За полгода у нас не появилось ни общих друзей, ни общих дел. Был и есть её круг, был и есть мой круг, но они не смешались. При встречах мы всегда и везде оказывались замкнуты, закольцованы друг на друга, а вокруг – ленивый, тусовочно фиолетовый фон. Отсюда любое свидание могло стать последним, ведь никаких обещаний и обязательств никем никому не выдавалось. Нет обязательств – нет принуждения. Свобода! И эта свобода перчила наши чувства надрывностью. Я ли, она ли, но, рано или поздно, кто-то бы «не захотел», и всё. Всё! Got bay...

Ну, конечно же, я не во всём прав. Точнее, не прав во всём. Надо было уход заявить. Мы же люди, существа словесные, говорильные. Ведь можно было ещё вчера хоть как-нибудь попытаться объяснить. Хотя бы по телефону. И, раз не удалось уйти по-английски, будьте любезны терпеть, когда вас отправляют по-русски. Вот чего я вчера заюлил, заёрзал? Реально зажался назвать себя неудачником? Ах, ах, как неэффектно прощание бывшего студента и сына безработного на фоне золотистого СААБ 9-5!

- Почему ты не боишься меня потерять?

Неожиданно развернувшись, Тина перегородила дорожку. Ноги на ширине плеч, руки на груди.

- Боюсь.

- Врёшь.— Она далеко отщёлкнула окуроч, выдула струйку мне в лицо.— Не гони. Решил порвать? Сам? Причём, читерно: хоп! — и кинул. Смылся. А поговорить слабо?

- Давай поговорим.

- «Давай»? Мне не нравится твой тон. Не нравится твоё влияние. Что-то ты, Стар, действительно, не такой. Хочешь бунтовать? Так попробуй открыто. Ты ведь герой, хотя бы на вид. Но только на вид, Стар, для других. А я-то знаю: ты — мой, моя собственность. И не дёргайся без моего разрешения. Не дёргайся, пока я не позволю. Что? Что не так? Да, собственность, моя любимая, дорогая мне собственность, может, самая дорогая. И пока не захочу, чтобы ты чьим-то стал, даже не мечтай.

Ноги на ширине плеч, руки на груди — Тина исподлобья, не разу не смигнув, резала как лазером:

- Взаимость? А что, я тебе не отдалась? В первый же день. Что? Взял «влёгкую»? Герой! И Катку забыл? Стар, ты же её цветы мне передарил! Её цветы — мне! Так что ты теперь мой парень. Мой. А я жадная. Жадная! И у Катки Сергованцевой тебя забрала только потому, что жадная, а ты красивый. Почему такой должен принадлежать ей? Да я ещё в школе у неё всё лучшее выпрашивала. Нет, просто забирала — всё лучшее должно всегда быть моим. По праву лидера. Я же лидер, я — крутая, я — чума! Я — мега-звезда! А кому сегодня клуши нужны? Ледышки, типа этой местной музейщицы. Отхватила себе медведя, потому что других чикс поблизости нету.

- Подожди. Не переключай, причём Микула и Надя?

- При том! Что, эта местная сушка на кого-то право имеет? Ах, он её любит? Ах, ах! Да что он знает о любви, твой Микула Селянинович? Прикинь: вот заберу его у неё. Если захочу. И влёгкую: Кинг-Конгам нравятся блондинки. А уж тогда, может быть, и тебя отпущу. На все четыре стороны.

Тина опять шагала впереди. Плечи расслаблены, головка вздёрнута. Неужели она опять права? Блин. «Герой, но только на вид». Права, конечно права: «цветы передарил». Отстойник. Конкретный, блин.

Мы молча обошли лужу, миновали разбитую молнией берёзу, раскоряченный дуб. Тропинка извилинами круто поступенилась вверх. Я смотрел, как Тина легко взбегала на взгивье поперечного холма: «Лидер. Крутая. Чума». А я лишь собственность, любимая, дорогая, но собственность.

Лес остановился, и из-за мелкой ольховой поросли распахнулся луговой простор, тонко прорезанный камышовой речкой. Щекотнуло мятым придыханием ветерка. Солнце, солнце, солнце! Мы одновременно прикрыли глаза ладонями. За лесополосой дачного посёлка, поближе к пруду — квадратик усадьбы. Сквозь полупрозрачные кроны, перевешивающиеся за дощатый забор, чернеют острокатные крыши. Та — наша.

- Мир?

- Подумаем. Пока только перемирие.

- Тогда будь поближе.

Прямо на нас надвигалась, мягко говоря, неприятная компания. Возглавляла группу Анка-Решето, почти рядом с ней, размахивая руками и матерясь, качался сухой, смуглый мужичок в дико-зелёной рубашке навывпуск, за ними топала пара явно блатюков — один огромный, второй контрастно мелкий и какой-то весь вихлястый.

На лугу тропинка удачно раздвоилась, и я, прикрыв собой Тину, пропустил мимо что-то азартно обсуждающих и не обращающих на нас никакого внимания встречников. Мат-перемат, феня-перелефеня. Стоп! А не откинувшийся ли это с зоны муж Анны? Очень похоже. И идут они ... от усадьбы... и у здорового рот разбит...

Я выцарапал из кармана телефон, быстро вызвал Микулу.

- Да, они, они! – Микула верещал в восторженном перевозбуждении. – Только что от нас! Приходили Хому попугать, но обломились. Мы же сами мафия. Саша, молодец, с ноги главного быка разом свалил, остальные отвяли. Подпрыгнул и вклепил. Красавец! Ты где?

- Близко.

- Давай поспешай, обедать пора.

Накрытый в мастерской именинный стол ломился от угощений. Неужели это мы столько натворили? Прямо гордость распирает. Тут вам и салаты всевозможные, и сыры, и колбасы, грибы-солёности, гарниры под горячее рыбное, и выпечка. А морсы? А фрукты? Даже пара советского шампанского и индийский ликёр. Сервировка, конечно, не фарфор с серебром, но салфеток в избытке. И букет, какой букет! Прямо посередине стола старинное латунное ведёрко едва сдерживало развальную охапку розово-красных лилий. Раскрывшись до самых пестиковых тайн, с нахально торчащими обсыпанными крупной жёлтой пылью тычинками, цветы стайей восковых жар-птиц нависли над пиршеством.

На стуле-кресле с высокой резной спинкой с торца восседал Микула. По правую руку от него – Надя, по левую – Олег. За Надей Саша, Настя и Мишаня, а напротив – рядышком-то с Олегом! – Хома. Далее расположились Тина и я.

- Недавно читал чьи-то воспоминания о том, что Крылов и Гоголь в равной степени были обжорами. Однако, если великий баснописец имел честный вид великого гурмана, то Николай Васильевич умудрялся греха не обнаруживать. – Хома, по-видимому, ещё не нашедший, как себя вести после неожиданной своей отмазки от блататы теми, кого был готов незадолго до того определить в среднюю группу детсада, для сокрытия разброда мыслей и чувств преувеличено умильно ухаживал за Тиной. Впрочем, он довольно ловко изображал утомлённого неизбежным успехом, но упорно тянущего свою роль ловеласа-седалона. – Кстати, знаете анекдот про Крылова?.. Как-то раз получил он от Государыни пригласительный на бал-маскарад в Зимнем дворце. В ужасе побежал к Лениным, с которыми дружил и у которых часто обедал: «Во что мне рядиться? Меня всё одно все узнают!» А позвольте, мадам, вашу вилочку-с.

Хома даже примурлыкивал, перекладывая в Тарелку Тиной «дары моря». Ревновал ли я? Да наоборот, только радовался своей свободе еды и наблюдения.

- И, надо сказать, что, кроме обжорства, Крылов страдал ещё и невероятнейшей неряшливостью. Все завтраки, обеды и ужины отпечатывались на его костюмах. Может, сударыня, сырку пожелаете-с? Так вот, супруга Оленина ответно лишь развела руками: «Дорогой наш Иван Андреевич, да вы просто умойтесь, причешитесь, наденьте новый сюртук – и, уверяю, вас никто ни за что в таком виде не угадает»!

Сидевшая напротив Тиной Настя по-детски прыснула. А Саша проворчал:

- Зато Крылов очень сильным был. С тринадцати лет в кулачных боях участвовал.

- Вот она, неисповедимость-то! – Хома упорно источал миролюбие. – Кому что и за что, непонятно. Бедолага Гоголь поедал не меньше великого баснописца, а хилостью своей телесной всех просто пугал. Даже Государя и Бенкендорфа. От этого страха, да и чтоб просвещённая Европа не обвинила их, азиатских деспотов, в умерщвлении голодом национального гения, они весьма хороший пансион ему платили. Кстати, в истории остался анекдот на эту кулинарную тему. Во время гишпанского путешествия, в одной из таверн Мадрида Николаю Васильевичу подают пожаренную на прованском масле котлетку совершенно холодной. Гоголь заявляет лакею неудовольствие. Тот преспокойно ощупывает её грязными пальцами и возражает: «Нет, senior, она вполне тёплая»!

- Богдан Фомич, вы сами-то почему ничего не кушаете? – Тина в ответ на уланско-гусарские ухаживания наигрывала невинную скромность. Веки приопущены, мизинчик в сторону, ах, даже щёчка чуть-чуть порозовела. – Может быть, у вас аппетит пропал? От воспоминаний друзей далёкого детства.

- Каких друзей? – Попался Хома.

- Разве вы не ровесник известному баснописцу Крылову? А я-то подумала. Столько знаете подробностей. И ещё подумала: у вас аппетит пропал, вот и нам вы его отбиваете. Не со зла, конечно.

Теперь хмыкнул Саша.

- И, правда, не со зла. – Хома покосился на меня. Ммм... сочувственно.

- Предлагаю второй тост за родителей! За их любовь, что воплотилась вот таким богатырём и умницей. – Олег встал, за ним потянулись остальные. – Дай Бог им здоровья и долгоденствия. Многия и благая лета!

- Многая лета, многая лета, мно-о-о-о-огая ле-е-е-та-а!

Хор, конечно, не слаженный, но очень искренний. И, огибая букет, мы беззвучно затолкались капроновыми стаканчиками. Важно, чтобы барышни напоследок чокались с мужчинами, иначе у них деньги водиться не будут. У кого «у них»? У барышень! Ага, для этого-то они, мужики, женщинам и нужны – для чоканья!

Все шумно-весело заперебирали и другие мужские необходимости. Гвоздь вбить, ёлку вынести, позавчерашний суп доест. Ну, не собакам же выбрасывать!

Юморили все, кроме Микулы.

Это Олег его зацепил. Родителями, с их любовью. Нечаянно, но зацепил. Лидию Алексеевну, Микулину мать, я знал хорошо, она чудная женщина, простая, всегда замотанная, всегда на бегу – старшая медсестра совминовского профилактория, но, какая-то разумная. Всё всегда понимающая. А вот отец... Отец у Микулы был фантомным, и тема эта у них дома всегда являлась жёстко запретной. Лишь по проговоркам я вычислил, что тот никогда на Лидии Алексеевне не женился, что у него имелась другая семья, а к ней «приходил».

- Убьём себя?

- Вы, молодые люди, курить? Меня возьмите.

Хома вслед за нами и выскользнул на крыльцо. Они с Тиной присели на ступеньку, а я сошёл на жарящую даже сквозь тапочные подошвы плитку. Палило нещадно, жидковатые кроны антоновок ничего особо не притеняли, в ожестеневшей траве во всю свою мочь зудели кузнечики. Всё вокруг очумело замерло, и только цветочные мухи радостно резали густой полуденный настой яблочной кислоты.

Что? «Кругом царила жизнь и радость»?

- Эх, молодые люди-человеки, знали ли бы вы, как завидую я вам, ох, как завидую!

- Чего вдруг?

- А время у вас есть. На ошибки. И исправления. Отсюда ваша беззаботность.

- Богдан Порфирьевич, не канючите. – Тина кому-то набивала эсэмэску. – Раз вы не ровесник Крылова и Жуковского...

- Даже не Бальмонта.

- Вот видите. Значит, можете ещё себе юзовать и юзовать.

- Это что же такое?

- Ну, там, на грабли наступать, шишки множить. – Я что-то себя не запонимал: вроде как решил с Тиной завязывать, а вдруг задёргался – кому это она сэмэсит?

- Всё равно завидую. Пусть и не конкретно чему.

- Может, это просто ваш характер? Возрастание с комплексами неполноценности. Или генетика подпорчена. Вы в семье младший? Обижали?

- Не там, молодой человек, копаете. По комиксам жизнь познаёте, в лучшем случае, по хрестоматиям. Но я великодушно даю подсказку – в оконцовке столь полюбленного вами стишка:

Кругом царила жизнь и радость,

И ветер нёс ржанных полей

Благоухание и сладость

Волною мягкою своей.

*Но вот, как бы в испуге, тени
Бегут по золотым хлебам,
Промчался вихрь – пять-шесть мгновений –
И, встречу солнечным лучам,*

*Встают с серебряным карнизом
Через полнеба ворота,
И там, за занавесом сизым,
Сквозит и блеск, и темнота.*

- ??

- Темнота сквозит в оконцовке, те-мно-та! И обратите внимание на тонкость гения: в прошедшем времени у него – *царила*, а в настоящем – *сквозит*.

Когда мы вернулись, комнату заполнял мажор. Тема – не смейтесь! – Родина. Олег вёл, Микула слегка поддакивал, а Надя оппонировала. Но все апеллировали к Мишане.

- Как, говоришь, у него там написано: «Родина – проклятье и награда»? Ладно, ради красивого словца не пожалею и отца. – Олег опять раскачивал под собой стул. – Однако ж, в любом случае, она так воспринимается только как следствие чего-то. То есть, для человека родина не сама по себе изначальность, а, в какой-то мере, она всегда в неких отношениях с его прародителями.

- То есть, по-вашему, родина не судима? – Надя, подсев на край подоконника, в своём белом сарафанчике буквально растворялась на фоне полуденного окна. Просто голос из сияния.

- Родина судима только в сравнении с самой собой прежней, с пра-родиной. Как искажение, оскудение Рая.

- Причём тут страна? Разве это она сама? Разве её не прародители исказили? Господь же сказал Адаму: «Проклята земля в делах твоих»?

- Сказано о всей Земле. Земля же – куда больше родины. Ну что нам до Явы или Тибета с их питекантропами и синантропами? Родина нам потому и родина, что она во всём прилежит нашим, только нашим прародителям, неотъемлема от них. – Олег даже глаза прикрыл, чтобы Надя его не слепила, не сбивала с ровности тона. – Можно сказать, что именно глина, пошедшая на Адама, и есть наша родина: «Адам» и «Эдем» – это же одно слово. Потому-то родина и свята навсегда, даже если все материки и острова вокруг прокляты.

- Ну, нет, нет же! – Надя выкинула перед собой руку, как бы сама заслоняясь ладошкой от Олега. – «В делах»! Она в делах, то есть, она проклята или свята во времени, в развитии. Родина даётся нам как новый рай, взамен утерянного. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Поместил для возделывания, а не для поедания. Родина – это наша возможность в своём времени трудом в поте лица искупать праотцово грехопадение. Для того нас, молодых, и переполняет силой – для свершений. Но исполняем ли мы в Родине предписанную нам Господом праведность, превращая пустыни в сады, или же падаем, растлевая сады в пустыни? Каждый человек и каждое поколение реализуются в родине, и не надо свою собственную несостоятельность валить на прошлое, на наследие, царское ли, или же сталинское! Родина – не прошлое и не будущее, она сейчас и здесь! Она всегда единство-перекрестие и места и времени действия.

- Как в плохой пьесе. – Тина села за стол, придвинула ликёр и демонстративно заглядывалась в поисках чистого стаканчика. – В которой диалоги, диалоги. Декламация, потом опять диалоги. И на финал мораль.

- Не в плохой, а в классической. И потому вечной. – Надя тоже вернулась на своё место. Рассаживались и остальные.

- Так за что будет третий тост?

- За Россию!

- За Россию! Ура! Ура! Ур-ра-а! Классика!

- Позвольте вмешаться по поводу наследия.— Хома после выпитого не сел, а запритаптывался, закрутился, явно готовясь внести свою декламационную лепту в общую диалогическую копилку. — Так сказать, мне, человеку из поколения для вас прошлого, ископаемому анахронизму...

Но тут я поймал просто молящий взгляд Микулы. И достаточно хамски перебил:

- Нет, не позволим! Чуть попозже, пожалуйста. А пока вы сами позвольте мне, как человеку грядущего поколения, и чтобы не произошло парахронизма, завернуть застолье в тему. То есть, вспомнить о Микуле, о рулезном нашем Николае Повитухине.

Комковато-громкое «ура» придавило недоумение Хома, не дав развиться в обиду.

- Итак, начну, конечно же, с себя, по праву знания именинника ранее и долее всех здесь присутствующих. Сколько кэгэ и сэмэ он родился – не в курсе. Когда начал ходить, говорить и считать до пяти – тоже. Но в нашу школу Микула сразу заявился богатырём. И не только физиологическим, а и психологическим. И философским. Его не только нельзя было столкнуть и повалить, но и довести или раздражить. Эпика от рождения текла в его жилах, былинно-славянская, правда, может и с лёгкой примесью финно-угорской, но эпика густая.

Почему я свою речь так упорно обращал к Наде?

- Учителя уважали его, надеялись на него и верили в него. А вот мы, товарищи – и не очень, периодически пытались проверить: не изменится ли в этой эпике чего, хотя бы в нервном переходном возрасте, всвязи с половым созреванием? Пытались научить его курить, пить, легкомысленно относиться к девушкам. Глухо! Даже гормоны оказались бессильны перед русским духом. Догадываюсь, не изменилось ничего и в университете. Что какая-то филология может выставить против Микулы Селяниновича?

Надя пыталась отворачиваться, прибирала около тарелки, даже что-то из-под стола поднимала. Но я упорствовал:

- Время летит пулей, и мы стареем. Вот уже и двадцать два! Близятся дряблость и дряхлость, за которыми всех нас поджидает могила. Но, через все испытания, я навсегда сохраню в памяти, как впервые Микула свой эпический дар проявил литературно. Мы тогда, в пятом классе, на уроке лит-ры писали сочинение по картине Виктора Васнецова «Богатырская застава». Той, что в простонародье называется «Три богатыря». Помню, как Микула внимательно и неспешно, минут десять-пятнадцать всматривался в висевшую на доске репродукцию. Наконец взял ручку и вывел: «На переднем плане в самом центре картины художник изобразил коня». И затем аккуратным ровным подчерком заполнил целых две страницы описаниями этого самого коня. Какой тот могучий, какой сильный, какой он масти, какие у него грива и хвост. Под какой упряжью, и под каким седлом. Даже копыта и бабки описал. Далее, уже на третьей странице, Микула, наконец, замечает: «На том коне сидит богатырь Илья Муромец». И тут – дзинь-дзинь! – звонок! Полный бэмц! Он только-только размахнулся, а уже тетрадки собирают! Что делать? Другой бы запаниковал, но Микула лишь закрутил педали! И, пока учителька шла по рядам, он успел таки дописать: «Но, как говорится по-русски, один в поле не воин. Поэтому рядом с главным конём изображены ещё два коня...»

- Миша, так что тут реально приключилось?

- Эти козлы вошли в ворота и притопали к директорской квартире. А мы у крыльца стояли: Микула с Надей говорили. О приглашениях на вечер.

- И?

- Да быстро так всё. Этот синявка начал про Хому понтовые свои речи разводить. Олежек велел базар фильтровать. При девушках. Тогда бычара их на Олежека дёрнулся. Саша с ноги ему и влепил. Прыгнул и попал. Всё, слиняли они.

- Думаешь, не вернутся? Вразумились?

- Кто придурков знает. Могут.

Мишаня выговаривал мучительно, жмясь глазами в землю, как бы стесняясь такого своего «многословия». Ну, да, при брате бы я из него столько не выдавил.

Пересидев в первозастолье жару, многое подъяв и выпив, ещё более наболтавшись и чуток даже попев, все друженько приступили к подготовке самого главного на сегодня события – вечернего пикника у озера. Микула и девчонки мыли и укладывали в коробки посуду, пакетировали заготовки к шашлыкам и плову, Хома, Олег и Саша вывозили на поляну уголь, дрова, мангал, сборные столы, лавки и седушки, а мы с Мишей помогали, чем могли, каждому, о том просившему.

Но чего-то я вдруг стал грузиться и потому особого фанатизма не проявлял. Не то, чтобы голова заболела, но всё как-то стало давить на уши, раздражать. Я слушал, и не слышал. Смотрел, и не врубался. Пока не ощутил, как тихо-тихо начинается это проклятое обострение обоняния. И зачесались ладошки... Ну, вот опять. Блин. Отойдя, попытался отдышаться, перетерпеть, но небо своим обилием света ослепило окончательно. А ещё эти факовые кузнечики!

Вернувшись в мастерскую, я потихоньку двинулся вдоль стены к дверям на лестницу, в фантастической надежде незаметно проскользнуть в чердачную комнату, и спрятаться там до того, как отпустит. Ага, выкуси!

- Стар! Стар, подойди ко мне.

Я подошёл к Тине, горячо подул-придохнул ей на шею, на обнажённое плечико. Но она только отдёргнулась:

- погоди ты. Чего это такое вещает? Приколотся кто-то решил? – Она покрутила сразу обе белопластмассовые рукояти. Важно-чёрный эбонитовый куб с закругленными гранями и латунными буквами «Folkmelodik», вслед за метнувшейся стрелкой настройки радиоволн, зашипел, запотрескивал от такого неуважения. И раздражённым старческим голосом выдал:

- Есть комнаты, в которые не входят без приглашения... Есть бремена, которые не принимают самовольно....

- Ага, и «есть тайны, в которые не стоит проникать даже случайно»! Мы уже это слышали. Похоже на стример. – Тина, наклонив приёмник, безжалостно отколупнула перфорированную картонку, прикрывавшую его внутренности с тыла. Рядом с фирменно древними лампами накаливания кто-то пристроил нехитрую схемку и два разнесённых колёсика с закольцованной лентой. – Ну, смотри, точнёхонько магнитофон!

- Так мы их! – Тина, толкнув кулачком вверх, крутанулась на пятке. – Стар, ну, согласись: я – гениальна, я мега-звезда! Стар, ты меня любишь? Отвечай! Отвечай громко!

- Не-флу-ди. – Я, и не оглядываясь, знал кто, откуда и как на меня в этот момент смотрел. В том числе и канарейки.

- Нет, ты, действительно, не такой. Не можешь даже поприднать мой ум. А ведь я разрушила суеверия, угнетавшие местные народы. Я подарила свободу рабам этого фашистского монстра. На него даже смотреть страшно, а что уж было слушать!

Я взглянул на опозоренный, распотрошённый «Folkmelodik», и мне стало просто нестерпимо жалко переживаний той длинной-длинной дождливой ночи.

- Зря ты так. Он был астралоприёмником и ловил подсказки космического разума. А теперь он лишь вывернутый фокус раскоронованного Гудвина.

- Ёжиков не обижай. И меня тоже.

- Ёжики пусть размножаются. А ты мне дай возможность уйти. – Похоже, наконец-то Тина почувствовала излучаемые мной вибрации. – Дай побыть одному. Хоть полчаса.

Я наклонился и ещё раз подул ей на шею. Но теперь она испуганно застыла. И правильно делала. Ведь помнила, как я, в таком вот состоянии, в ответ на её непонимание вывесился на руках с балкона восьмого этажа. И не взобрался назад, пока она не встала на колени. Я ж не герой, я только собственность. Крепостной. Поэтому имею право на бунт. Бессмысленный, беспощадный. И безнадежный. Так как, в конце концов, умирямый.

Небо вновь ударило светом, невыносимо пахло распаренной за день листвой, и кузнечики застучали по вискам своими бесчисленными молоточками. «Не можешь поприбавить мой ум!» Не могу! Не хочу! Так можно любому чуду забраться в кишечник и умно описать там микрофлору. Можно приколоть залетевшего в чулан эльфа к синей бархатной бумаге, подождать, пока он перестанет дёргать крыльями и усиками, и дать ему научно-греческое название. А у жар-птицы пёрышки повывернуть и ... и продавать как энергосберегающие электроприборы. Да, и тушку потом тоже продать, вроде как бы куриную... Я шёл по аллее, бормоча проклятия и угрозы всем и вся, а сквозь тёмные кроны уже низкое солнце злобно тыкало мне в глаза острыми, попеременно красными и золотыми искрами. Жмурясь, я не сразу заметил догнавшую меня Надю.

- Ты чего?

- Я палец порезала. Иду домой обрабатывать. – Она показала толсто обмотанную полотняной салфеткой левую руку.

- Кровь – это всегда жертва. Особенно ценят боги человеческую.

- Какие боги?

- А разные. Любое наше кровопролитие им в радость. В пир. Так что, поздравляю, насытившись, сегодня они тебя вознаградят обязательно.

- Ну тебя, наговоришь. Голова болит?

- Душа. Но ты права: в части головы. Есть там такая.

- Да, знаю. Души у человека в разных местах, действительно, разные.

Надя свернула к директорскому крыльцу, а я поплёлся к усадебным воротам. Может, мне утопиться? Что б никого не мучить. Претензиями.

За воротами я оказался вовремя. Как раз Олег и Саша вернулись с поляны, оставив там Хому на хозяйстве и сторожке. И почти вслед им подлетел директорский RAV-4. Новенький синий «паркетник» приткнулся задрипанной вишнёвой «восьмёрке» в самый зад, и Олег даже отступил удостовериться, что без контакта.

Модест Александрович распахнул дверцу, но вышел через паузу, договорив с кем-то по телефону.

- Здравствуйте, кого не видел.

- Здравствуйте. Добрый день. – Пожимая маленькую крепкую ладонь, я загляделся на, не то что невиданную, а даже как-то непредставимую на его холодном барственном лице гримасу. Гримасу растерянности. Даже какого-то ребяческого испуга. Модест Александрович с усилием выдернул у меня руку:

- Надя где? Дома? Хорошо. А Николай? Да, у него же сегодня праздник. Богдан Фомич, говорите, на той стороне? Пикник готовите? К вечеру? Да, он меня приглашал.

Замедленно выговаривая слова, он расспрашивал меня, как единственно знакомого, чуть кивая. Он даже попытался привычно ясно-холодно улыбнуться, но помешала стянувшая лицо гримаса, и улыбка получилась на одну сторону.

- Вадим, пожалуйста, передайте Наде и Богдану Порфирьевичу, и Николаю тоже: я еду к Малкину. Аркадий Борисович должен поддержать, и, может быть, нам выделяют охрану. Да, настоящую ведомственную охрану! В Спасско-Кащейково под утро сегодня усадьбу сожгли... Я оттуда. Соседка видела, как через забор трое перелезли, испугалась, не позвонила вовремя. А это был дом двоюродного брата нашего Поэта. Мы собирались открывать там филиал музея – в сентябре заканчивалась аренда дома под шофёрское общежитие. Собирались. А теперь... Нет усадьбы, зато есть место под застройку! Полтора гектара Подмосковья, да с подъездом, да у реки, – что это нынче в долларах? Если сотка по пятьдесят тысяч. Семь с половиной миллионов зелени! Семь с половиной! И кто там планировал какой-то музей какой-то истории русской национальной мысли?! Боже, какие наивные. Воздушные планы против конкретного бабла. Какая и кому, на фиг, нужна она, эта самая история? Какой-то русской мысли?

Я, Олег и Саша застолбенели забором, а Модест Александрович, вдруг ужавшись, стал делать маленькие приставные шажочки вправо-влево, заглядывая нам в лица:

- А ведь по тем половицам Тютчев ходил. Аполлон Григорьев, Стасов, Григорович. Гончаров! Майков! Достоевский! А теперь угли. И ничего не докажешь. Ни-че-го! Просто угли. Пепел. Но, ребята, я вас попрошу, очень вас попрошу: вы запомните эти имена! Как проклятие, как вечный позор для их потомков, их детей и внуков, до седьмого колена позор! Навсегда запомните: усадьбу не братки сожгли, не синявки отмороженные, а вполне солидные и прагматичные ... чуть не сказал – люди! Прагматичные нелюди: директор управления механизации «Ланбато» Качайник Владимир Георгиевич и его зам Демин Александр Сергеевич. Они арендаторы, и, решением комиссии, должны были этот дом оставить, как памятник культуры. Но кто ж из таких «вменяемых» отдаёт ухваченное в девяносто третьем? Какая там «ваша» история, «ваша» культура, когда в «наших» руках полтора гектара?! Какие Тютчев и Достоевский?! И, главное, знайте, следующий поджог – у нас. Теперь мы у них на очереди. Под коттеджи-то...

Вдруг – слеза. Крохотная слезинка вдруг выкатилась у Модеста Александровича! Он мгновенно стёр, но я же видел! Так же ясно, как этот его белый перстень с чёрным квадратным камнем.

Модест Александрович с отмашкой развернулся, поспешно забрался в свой «паркетник». И уже из кабины, через полуподнятое стекло прокричал:

- Качайник и Демин! Качайник и Демин! Запомните подонков!

Надо же: истерика случилась с Модестом Александровичем, а полегчало мне!

Когда, загрузив машину на второй заход, Олег и Мишаня потихоньку отпылили, я притянул ворота поплотнее, повернул барашек замка, покачал для убеждённости, глубоко вдохнул-выдохнул, и с объяснимой неохотой почерепашил к мастерской. Предстояла разборка с Тиной, а я никак не мог выбрать позицию: виниться мне или упорствовать? После модестовского нервного срыва, моё расслабленное нутро заполняло беззлобие и всепрощение, однако, а как же педагогика? Вот так уступишь раз, другой, а потом... Что, кстати, потом? И будет ли оно, это потом? Точнее, долго ли оно ещё будет? Всё равно надо завязывать. Потихоньку, полегоньку, главное, что б не оскорбить, не обидеть. Эх, кабы да если бы, да она сама бы меня послала! Но, тоже бы, без особой ярости. Как-то ведь расстаются люди «по-хорошему»?

Люди расстаются. Но «то люди, а мы вяские», как говаривал деда-Пава, Павел Васильевич Староверхов. Рано дед умер, сердце, и я не успел его разглядеть, запомнить за те два кратких приезда на каникулы в его серо-пыльно-древний Котельнич. Только и осталось: вяские мы. Отсюда у меня всё так и получается. Да, именно это я сейчас Тине и объявлю: наследственность, мол, кровь, гены. А что записано в ДНК, ничем не вырубишь ... и ни кака. Не вытравишь. Не выгонишь. А пора. Гнать-то. По-ра.

- Ты совсем решил стать смелым? Окончательно? Ты даже решил, что сможешь меня в чём-то обогнать? Типа, бунт плавно переводишь в гражданскую войну?

Тина шипела. И не как швапс или кола. А как дырка в скороварочной крышке: ровно и напористо.

Мы стояли на полянке перед заросшими хмелем усадебными развалинами, прямо на глазах меняющими окрас из гламурно-розового в сизо-фиолетовый. Подзаслонённый рыхлой темнотой старых лип и тополей, необыкновенно сегодня размашистый закат яро полыхал вверх алыми перьями, алым же разбросанно рефлексировал на частых мелких ромашках, на набитом почти вдоль всего фундамента оконном стекле. И на Тининых волосах. Кузнечики, наконец, утомились, и, охлаждаемый ровно тянущимся на запад ветерком, воздух от невидимых, но недалёких речных зарослей всё смелее заполнялся лягушачьи распевами. Оставленные солнечным надзором тощенькие розы пробовали благоухать.

Почему мы стояли здесь? А где нам было выяснять отношения? Не в беседке же. И вот, когда все повернули направо, мы пошли налево. И вышли на пустырь разрушенного господского дома. Тина шипела, иногда больно толкала меня кулачком в рёбра, но никак не могла возбудить. Я слушал голос, и не слышал слов. Я думал. Но не о ёжиках, а о усадьбе. О том, что нынешние жители коттеджей понятия не имеют об образе жизни в усадьбе. Вовсе не обязательно дворянской, дворцового типа, какую их коттеджи так бестолково имитируют. А, действительно, как жить ву-садь-бе – ву-саде, то есть, в-саду, который есть отзвук, отблеск бывшего рая? Его карта-икона. Хм, отчего сегодня всё вокруг одной темы вертится?

- И ещё хоть раз глянешь на эту сушку, я тебе глаз выжгу. – А вот это уже не шип, а жалоба.

Наконец-то Тина меня пробила. Я оглянулся – мы стояли одни. Одни. Где-то ещё бродил, сидел или лежал Хома, которому на сегодня выпало сторожить и сторожить – то еду и столы на поляне, то усадьбу, пока остальные на этой самой поляне за этими самыми столами эту самую еду поглощают. Где-то. Но здесь, под крепко посиневшим небом, в окружении нелюбопытных лип и в очень уже романтических сумерках, мы были одни.

Я притянул, прижал её ладонью под затылок, второй – по талии. Она ответно захлестнулась вокруг моей шеи руками, и потянулась, поползла-поросла по мне, вверх, вверх, губами в губы.

Розы окончательно осмелели. И лягушки.

А где малиновка? Вот, вот она, маленькая... такая маленькая... такая...

Мы почти бесшумно выскользнули за ворота и повернули к реке. Невысокая трёхчетвертная луна подсвечивала не особо, поэтому я шёл чуть впереди, проверяя дорожку на наличие ям и кочек. Ближе к плотине к нам примкнуло несколько гундосых комариков, которых тут же атаковала летучая мышь. Неприятное она существо. Вроде и безобидная, даже полезная, а, всё равно, вызывает суеверные помыслы. Зря Буратино такой доверялся.

Тина за спиной молчала. Она всегда так, после такой вспышки замыкается, просто в упор не видит. Меня это вначале задевало, я не понимал, тянул на себя – мол, что не так? что не получилось? А потом смирился: так уж устроена. Её психология и физиология. Это мне всегда петь хочется, горы сворачивать. Звёзды доставать. А ей в это время уже ничего и никого не нужно. Никого. Уже. Я на этом и смирился.

Мышь черканула почти по голове. Я аж подсел и невольно оглянулся: поднеся телефон к глазам, Тина опять выбивала эсэмэску. Кому? Маме?

- Ты не запнишь.

Она не ответила.

Вот и плотина. Чёрный тополёвый строй равнялся на подлунно блестящие обвалы ив-плакальщиц, под которыми мы, взойдя на бетонную площадку, не сговариваясь, остановились. Мы просто стояли и просто смотрели, как через край заслона живым стеклом переливалась вода, смотрели, как, бело напенившись и вновь потемнев, змеилась она в непроглядные заросли ольхи.

Матово-тёмный, с чуть подрагивающей рассечкой блёсткой дорожки, пруд отсюда казался загустевшей, недвижимой плёнкой. Безглубинно крепкой и упругой, по которой так и тянуло пройтись-пробежаться-проскользнуть, восторженно и тревожно ловя под стопами её прогибистость. Даже когда вдоль камышового гребня выплескивалась нагоняемая бессонным хищником рыбёшка, то волновые круги тут же гасли, не нарушая плоского поверхностного покоя.

Я повернул к себе Тинино лицо, приклонился, сильно поцеловал. Она из створок моих ладоней ответно внимательно всмотрелась в меня:

- Давно бы так... И ни про какую генетику больше не гони. Меня и так местный патриотизм достал. Что-то много здесь на каждом квадратном метре славянофилов. Не доставало, что бы ещё и ты забредил каким-то вятским антисемитизмом.

- Кто? Чем?!

- Ладно, завязано. Неужели непонятно, чем всякая русская идея заканчивается?

- Ну?

- «Бей жидов, спасай Россию»! Да двигайся ты, мне же не кажется, что шашлычком несёт.

Камышовый занавес с шуршанием прираздвинулся, и мы вышли на красно-жёлто освещённый костром и поднятом на шесте аккумуляторным фонарём пляжный пятак. На котором вокруг двух сдвинутых буквой «Г» столов и дымящим чуть в стороне мангалом толклись красно-жёлтые фигуры. Кто-то сидел на стульчиках, кто-то фланировал от яства к яству. Кроме манипулировавшего шампурами Олега, Миши-Мишани, Саши и Насти, понятно – Микулы и Нади, в празднование влились, а, точнее, праздник приукрасили Жанна Олеговна Голицына с неотлучным от неё Антоном Витальевичем Сахаровым. Кроме фигур уже знакомых, в темноте у самой кромки лунящейся воды угадывались ещё две, по контурам – высокая девочка и невысокий мужчина.

Мы с Тиной почти без реакции на свой выход присоединились к Жанне Олеговне и Антону Витальевичу.

- А почему у вас пустые тарелки? – Антон Витальевич, боясь за придавленный им пластиковый табурет, медленно поворачивался головогрудью.

- Так у нас их и нет. – Тина сама зашла в сектор его виденья.

- Вы, что же, милая барышня, без кавалера? А, есть, есть! Вадим, там, на конце стола посуда, а посередине – всё, чего только душенька пожелает.

- Точнее уж, телушко. – Жанна Олеговна с явным интересом рассматривала Тину.

- Познакомьтесь, Жанна Олеговна. – Я за руку развернул Тину. – Это Валентина.

- Тина.

- Очень приятно.

О! Как великолепно эта мгновенная дуэль женской переглядки! Здесь всё так откровенно, так раскрыто, так в полную силу, как у нас, мужиков, не бывает. Если, конечно, мы не на ринге в ожидании гонга. Вот и величественная Жанна Олеговна лишь через пару секунд сумела спрятать за чуть ироничную полуулыбку то, что непуганая Тина не смогла скрыть и через пять. Нет, на самом деле, женские отношения не только не предполагают дружбы, как равенства, но и не представляют даже независимого сожительства на расстоянии зрительного контакта. Доминирование и подчинённость – суть, природа отношений подруг-одноклассниц-компаньенок-родственниц-соседок. Вы когда-нибудь где-нибудь видели равнопризнание двух красавиц? Если только против третьей. Ну, и кто тут кого?

- Стар, подай мне зелёный салатик. И разведай насчёт шашлыка. – Сказала Тина Жанне Олеговне. Та улыбнулась мне. А я кивнул своим мыслям.

- Не забудьте и про нас. – Выказал мужскую солидарность Антон Витальевич. – Только не спешите, судя по запаху и нервозности, предстоит ещё минут двадцать пускать слюнки.

- Вы готовность по таким признакам определяете? – Тина продолжила борьбу за «мисс Вселенная на местной вечеринке».

- Суэта несовместима с обрядами, а принятие пищи всегда ритуально.

- Даже фастфут?

- Без сомнения. Вы не закажете гамбургер и колу в классическом ресторане, и не настроитесь на стерлядь на парах шампанского в «Ёлках-палках». Серебряная вилка или пластиковые палочки – не ваша индивидуальность, а часть многовекового общественного

ритуала. Ритуала торжественного или скорого питания, нарушение которого делает вас, по крайней мере, смешным для окружающих.

- Антон Витальевич, – ну, никакая женщина, даже столь состоявшаяся, как Жанна Олеговна, не смогла бы за просто так отдать лидерство, тем более, какой-то соплюхе, – вы Барта читали?

- О, да, забавный француз!

- Тогда вы помните его рассуждения о том, что, в первую очередь, именно еда есть обозначение социального положения, обстоятельств жизни, вкуса и ментальности. А уж потом – одежда, жильё, семейность.

- Конечно. Помню его замечания по тонкостям приготовления, сервировки, подачи, риторики сопровождения. Он на редкость глазастый умница.

- А почему путешественники всегда описывают еду? – Тина встала между Жанной Олеговной и Антоном Витальевичем как-то так, чтобы те не могли видеть друг друга. И, естественно, почти спиной к Голицыной. Это, конечно, было лишнее.

- Вадим, дайте прикурить. – Жанна Олеговна зарядила свой мундштук сигареткой. – И, в самом деле, сходите, пожалуйста, узнайте насчёт готовности. Пахнет, как будто всё уже на финишной прямой.

Я поклонился, раскинув руки, и растворился со сладкой улыбкой Йоркширского кота. На фиг, на фиг, бодайтесь, дамы, без судей, болельщиков и групп поддержки.

Надя стояла за костром в глубоком раздумье, но, хотелось верить, не на тему «прыгнуть или не прыгнуть». Белое платье теперь казалось алым, в мелких шевелящихся фиолетовых складках. И розовые, совершенно живые, лицо и руки. Не, не Снегурка. Но и не Огнёвка же? Просто реальная девушка.

- За здоровье именинника. – Я протянул ей пластиковый стаканчик со стильно красным вином. Прищурившись, Надя посмотрела на меня, явно вспоминая кто я, кто она и кто именинник. Но чокнулась. «Мерло» из тетрапака, в отличие от «Мерло» из бутылки, в реальность возвращало.

- На какую тему медитируешь?

- О рубежах. Временных.

- И куда проникла?

- Налей ещё.

Меня можно удивить. Я даже немного пролил, но на платье не попал.

- Эй! Стар!

- Прости, тоже не вполне воплощён.

- А о чём медитируешь ты?

- О кантилене. Времён.

В пламени видится что угодно. Вот теперь там чьи-то пальцы о чём-то изъяснялись на языке глухонемых. Что считывала Надя – не знаю, а в меня проникала некая мелодия.

- Надь, прочитай на память что-нибудь, ну, соответствующее месту и времени происходящего. Из Поэта.

- Чего вдруг?

- Там, в костре – мелодия, точнее, мотив. Я его слышу, но без слов. А ты? Эксперимент: вдруг да наши ощущения совпадают?

Надя несколько секунд последила за огненными пальцами, потом ослепше медленно оглянулась. Полупрофильная луна приподнялась и ужалась, позволяя звёздам набирать свет и цвет. Ответно озеро прибрало её дорожку, сфокусировало отражение в пятнышко, при этом утерев плёнку своего поверхностного натяжения. Теперь недвижимое озеро смотрелось абсолютным чёрным провалом в окружении матово мутной щетины камышовых зарослей. Чёрным до нематериальности, до ужаса. До восторга перед чёрным ужасом...

*Долго ночью вчера я заснуть не могла,
Я вставала, окно отворяла...
Ночь немая меня и томила, и жгла,
Ароматом цветов опьяняла.*

*Только вдруг шелестнули кусты под окном,
Распахнулась, шумя, занавеска –
И влетел ко мне юноша, светел лицом,
Точно весь был из лунного блеска.*

*Разодвинулись стены светлицы моей,
Колоннады за ними открылись;
В пирамидах из роз вереницы огней
В алебастровых вазах светились...*

- Стоп! Прости, Стар, я что-то не то читаю. Может быть, и ко времени, но никак не к месту...

Меня можно удивить. Я, церемонно склонившись, шаркнул по песку кроссовкой и поцеловал Надины пальцы – а они были тёплыми!

Свято место пусто не бывает. На покинутой мною точке неустойчивого равновесия женских амбиций Микула устроил пункт внегендерного просвещения. Жанна Олеговна и Тина, Антон Витальевич, с присоединившимися Сашей с Настей, на едином дыхании внимали его столь информационно насыщенному спичу. Похоже, излагались материалы будущего диплома:

- ...Да что вы! Постниколаевское время – это расцвет русской военной музыки. Император Павел по ходу реформы армии резко усёк количество полковых оркестров, при этом уронив дух ратного восторга нации, поэтому Александр Первый, на долю которого выпала, пожалуй, первая столь страшная для России война с объединённой Европой, вынужден был их восстанавливать. Сменивший его государь-романтик Николай обожал музыку, при нём медные инструменты развились технически до нынешнего состояния, но только при Александре Втором Освободителе наша русская военная музыка достигла максимального расцвета. То есть, марши из простого ритмоорганизующего оркестрового сопровождения парадов развились в самостоятельные художественные произведения: «Цесаревич Александр», «Георгиевское знамя»... Во время правления Александра Третьего Миротворца рисунок полковых маршей ещё более усложняется, в него вводятся проигрыши, игровые элементы, кстати, кавалерия марширует на три четверти, как в вальсе! И капельмейстеры теперь не только аранжируют, но и признано выступают в роли композиторов. Вот тот же Ефанов – «Бой под Ляоляном» – совершенная фактура времени.

- Это же в Японскую кампанию, это при Николае Втором...

- Да, пардон, я проскочил! Но вернёмся к его отцу: Александр Третий, изучавший в молодости живопись под руководством Тихообразова, а всю жизнь играл на духовых. На корнете, говорят, не ахти, но на трубе очень даже прилично. Впрочем, тогда все Великие князья рисовали и играли на чём-нибудь в обязательном порядке, так уж воспитывали элиту. Однако, при всей своей загрузке, Александр многих солистов гвардейских полков Петергофа знал в лицо, а его супруга Мария Фёдоровна – вдумайтесь! – не только помнила всех военных музыкантов Петербурга поимённо, но, и более того, она знала имена их жён и детей, расспрашивая при встречах о здоровье и успехах в учёбе!

- Да. Времена-с. Без приличного литературного и музыкального образования никто тогда не посмел бы себя называть элитой. Ни военной, ни финансовой. Ни технической. Да. А отличает ли нынешний наш управитель Федосеева от Минина? – Антон Витальевич

неловко повернулся, стульчик под ним не выдержал и, подгибая ножку, поплыл. Если б не подскокившие Настя и Тина, могучему воздыхателю о прошлом конфуза бы не избежать!

- Ну, поймёт, что не Ашкенази. – Подоспел к ним на помощь Саша. И я поймал на себе взгляд Тины.

- Господа, ввиду готовности первых шашлыков, приглашаю всех к столу разобрать наполненные бокалы. – Мне удалось столкнуть Микулу со своего законного места. – И, дабы не позволить пессимизму завладеть обществом, предлагаю возвести пир тел до пира духа. Дополним наше столь обильное застолье не менее обильной поэзией!

- И песнями!

- И песнями.

В компанию, оживлённо уступающую друг другу лучшие кусочки обжаренной на углях свинины, втянулись и невысокий мужчина с высокой девочкой, что бродили в темноте вдоль берега. Мужчина оказался сухоньким, весьма преклонных лет очкариком с растопыренной реденькой белой бородкой, несмотря на летнюю пору экипированным чёрной фетровой шляпой и чёрным же, постоянно шуршащим дождевиком. Девочка – блеклая, стыдливо неловкая старшеклассница, тоже зябко кутала плечи и шею большим сиреневым платком, то и дело, прикладывая к круглому носику белый платок. Они встали через стол против меня, пришлось знакомиться:

- Вадим. Попросту Стар.

- Ничего себе, «попросту»? Звезда и – «попросту»? – Старичок заговорил быстро, теноровым полушёпотом. – А мы: Иван Тихонович и Алочка. Только вы не подумайте чего, «Алла» – не по капризу бабушки, а по святцам! Есть такая готская мученица королева Алла. Готы же были христианами, только ариане в большинстве. А я преподавал Николаю древнерусскую литературу. И здесь местный житель. Собственно, с Модестом это я его и познакомил. Порекомендовал. Ведь мы старая шайка-лейка – и Модест, и Жанна. Мы тут, под самым боком у «Старшего брата», такие монархические сборища проводили! С Гедиминовичами, с Гогенцоллернами.

Я покивал, и, набив рот, попытался смяться. Но старичок не отпускал:

- А что, Вадим-Стар, с вашей космической высоты думается о антипрезидентских маршах и митингах? Для меня больно, что подросшая молодёжь, не помнящая девяносто третьего, оказалась неожиданно легко управляема, для неё – для вас! – кровавый опыт старшего поколения словно бы и не существует. Как же вы легко поддаётесь провокациям этих откровенных негодяев, просто поразительно. Неужели так велико желание следовать за каким-либо лидером? Любым, лишь бы с радикальными призывами и лозунгами. Лишь бы на бунт, под красным или белым бантиком...

С тоской я смотрел на стоявшего с дальнего торца Микулу, которого, как Париса с яблоком, с обоих плеч ожимали неразлучные до чьей-нибудь победы Жанна Олеговна и Тина. А где же третья богиня? Надя, формально встроенная в компанию Насти, Саши и Мишани, всё так же отстранённо упиралась взглядом прямо перед собой. Кажется, даже не дышала. Только здесь, в свете фонаря, белое платье оставалось белым, в мелких кремовых складках. Я бочком-бочком, потихоньку-потихоньку двинул вокруг стола, чтобы по возможности, и как бы ненароком, прикоснуться для убеждения: а были ли тогда её руки тёплыми от костра или это, и правда, новая реальность. Но тут говорливый старичок неожиданно зацепил:

- ...но есть комнаты, в которые не входят без приглашения и есть бремена, которые не принимают самовольно...

Только не надо крестовать, на плёнке записан совершенно другой голос, наигранно-зловещий, хрипло-торжественный. И всё же, кого они тут все цитируют?

- Ага, и «есть тайны, в которые не стоит проникать даже случайно»! – Откликнулся я как на пароль.

Теперь приторопел Иван Тихонович. Он даже оглянулся на внуку, но Алочка лишь шмыгнула в платок.

- Вы посвящены?

Эх, в иное время я не упустил бы случая подразнить и развести дедушку на пару масонских жестов и фраз, но сейчас я видел, как бочком-бочком Надя выходит из-за стола и потихоньку-потихоньку растворяется за кругом освещения.

- Баян всё это! Хоть и не клон и не флуд.

- Простите, что?

- Не зависайте, Иван Тихонович, Алочка вам всё объяснит. Мой вам респект! И...

И тут грянуло:

Не для меня – придёт весна,

Не для меня – Дон разольётся,

И сердце девичье забьётся

В восторге чувств не для меня.

Олег – шикарным раскатистым басом, за ним Саша и Микула дали нашу, заводную и коронную! Нашу, без которой не упомяну уже ни одного братского собрания. Ни в приходской трапезной, ни в общаговской:

Не для меня сбегут ручьи,

Стекут алмазными струями,

Там дева с чёрными бровями,

Она взрастёт не для меня.

Пели все. Я, по грани света широким полукругом обходя застолье, любовался восторженным блеском глаз на освобождённых, просветлённых высотой нахлынувших с ясной мелодией и простыми словами, чувствами лицах. Таких вдруг близких, вдруг родных лицах. Кто в полный голос, кто, не зная слов, в невнятную поддержку, но пели-подпевали все, и Жанна Олеговна, и Алочка:

Не для меня придёт Пасха,

Родня за стол вся соберётся,

«Христос воскрес!» – из уст прольётся

На этот раз не для меня.

- А для меня – кусок свинца... Он в тело... белое... вопьётся... – Точно рассчитав траекторию, я вышел на Надю в тупиковом окончании пляжика у чёрной стены осоки. Озеро, пробужденное, растолканное песней, озадаченно взыскрило отражёнными луной, костром, фонарём, однако вскоре успокоилось, наново раскрываясь провалом абсолютной нематериальности. Зато небо расцветилось по-полной. Жаль, что я ничего не понимал в астрономии. По крайней мере, меньше, чем в астрологии.

...Слеза горячая прольётся.

Такая смерть, брат, ждёт меня.

- Надя, а что за местная игра в цитаты? Ну, типа: «есть комнаты, в которые не входят без приглашения, есть бремена, которые не принимают самовольно»?

- Это слова великого мистика девятнадцатого века Элифаса Леви. Слышал о таком?

- Как же! Предвоплощение тамплиера Алистера Кроули. Отца церкви сатаны. Не ожидал в приличном обществе подобных имён. Неужто русское столбовое дворянство так и не избавилось от рудиментов декабристского спиритизма и оккультизма? Вы, поди, тут и Блаватскую с Гартманом почитаете? И Мессинга. Три карты, три карты, три ка-а-арты!

- Вадим.

- Что?

- Есть тайны, в которые не стоит проникать даже случайно.

- Ты права. Это я себя пытаюсь оправдать. Дедушка, тот, что в шляпе звездочёта, ни с того, ни с сего, вдруг, да возмись поучать всё наше поколение, разом. Я и дёрнулся на грузилово. Зря, конечно. Хамство даже подростков не красит. Однако же и он, голова в очках, как с горы рухнул. Вот пусть его теперь внука попросвещает... И попросвещает...

Надя шагала медленно, внимательно всматриваясь под ноги. Я по правую её руку, отставая на полкорпуса и так же осторожно шаркая подошвами, болтал, болтал, болтал... Обогнув прибрежные заросли, мы вышли на полевую дорогу. Всколмленная поляна до самого уже чуток затуманившегося, остро заштрихованного елями горизонта рябила розбрызгами ромашек. Настоявшийся за день хмельной дух клевера и мяты освобождено поднимался над травой, и, заполняя грудь, искал себе воплощения в свободе мыслей и поступков. Откуда-то, совсем издалёка нёсся ровный шелестящий гул Ярославки, а рядом, в темноте всего лишь нескольких десятков шагов подсвистывал перепел: «Спать пора. Спать пора. Спать пора». Как же! Спать! Как же спать, если над всею распахнутой перед нами широтой вызвездилась такая размаханная высота?

- Вадим.

- Да?

- По-твоему тоже: мы с Николаем не пара?

«Спать пора. Спать пора. Спать пора».

- По-моему – да. А кто это сказал тебе раньше?

- Хома. Он говорит, что мы... не потому, что разные... а наоборот, похожи.

«Спать пора. Спать пора».

- Я согласен: вы только внешние противоположности, а нутром... ты сильная, такая сильная, что он тебе не требуется. Никогда не потребуется.

Надя подняла мою ладонь, вложила в неё свою: меньше раза в полтора.

- Это я-то сильная?

- Очень. Сильная терпением. Волей. Родословной.

«Спать пора. Спать пора. Спать пора».

- Мне кажется, что я люблю его. Казалось. А ты знаешь разницу между «кажется» и «казалось»?

- Не уверен. Нет – да! Знаю, когда касается других.

- Спасибо. Точно так же, как я.

Дальний гул Ярославки. Хмель клевера и мяты. Розбрызг ромашек... Звёзды, звёзды... «Спать пора. Спать пора».

- Потому что ты такая же как я.

- Понимаешь, Николай такой правильный. Абсолютно правильный. Так и папа говорит: он... разумно надёжный. Я с ним рядом могу быть – или казаться? – слабым.

- Казаться.

- Вот и я тоже подозреваю. Но дело не в этом, а в том, что рядом с Николаем время останавливается. Помнишь, ты спросил меня в музее? А здесь даже не петли. Рядом с ним всё уже как бы состоялось, уже случилось. И ничего нового – нового в принципе более не будет. Потому что он правильный. Это и надёжно, и страшно. Я боюсь его абсолютности. Словно уже старость. А зачем тогда жить? Зачем незнание, глупость, страстность? Зачем свобода, в чём она? В чём? Где она, настоящая и будущая жизнь, если всё уже без выбора... Ну, и что это за такая разумная надёжность, если от неё столько вопросов? Таких вопросов... А ты – ты тоже кажешься слабым? Ей кажешься?

- Чья мудрость: «Если не хватает силы – будь умным»?

- Ну, не надо так. – Надя, прикрыв глаза, поморщилась. И я поцеловал её. А она поцеловала меня.

«Спать пора. Спать пора. Спать пора».

Над озером растекалась новая песня:

Выйду ночью в поле с конём,

Ночкой тёмной тихо пойдём,

Мы пойдём с конём по полю вдвоём,

Мы пойдём с конём по полю вдвоём.

- Это кто ж из нас тут идёт с конём?

- Ты!
- А я подумала – ты.
Смеясь, мы вновь поцеловались.
*Ночью в поле звёзд благодать,
В поле никого не видать,
Только мы с конём по полю идём,
Только мы с конём по полю идём.*
И мы опять смеялись.
*Пой, золотая рожь, пой кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён...*
Какой же у Олега сильный бас!

Нас встречали двое. Ну, да: Микула и Тина.

Встречали, конечно, взглядами. Внешне вся честная компания, удовлетворив алчность и переключившись на удовлетворение жажды, сосредоточилась вокруг вполне профессионального хора из Олега, Саши и Насти. И, в меру желаний и эрудированности, подпевала. Костёр почти затух, и лампочка, доедая аккумулятор, на глазах желтела, потому берег подсвечивали фары едва слышно урчащей «восьмёрки». Вылепленные светотенями фигуры, столы и стулья обрели яркую объёмность, а вода в озере материальность.

Не найдя компромисса в выборе дальнейшего репертуара, общество расщепилось по интересам и вкусам. Осторожно, но ловко сквозил я, юзил и петлял в разрыхлённом коллективном теле, ускользая и уворачиваясь от Тины. Слишком я был неготов к разборкам только что совершённого. Больше того, я не хотел даже собственных мыслей о приключившемся. Я вообще не хотел бы ничего, ничего... Ни поля, ни звёзд... ни перепела... Вот что теперь?..

Вряд ли сухое вино спасло бы меня, но помощь пришла в виде опыта старших поколений: Антон Витальевич и Иван Тихонович, как бы невзначай оборотившись к остальным спинами, отголубили пластиковую полторашку самогона. Настоянного на красном клевере, берёзовых почках и зверобое.

- ...Да только при Александре Третьем в правительственных сферах проросла идея придать России «больше внутреннего единства путём утверждения первенства русских элементов страны». Николай, было, начинал это самостояние, но Александр Второй опять скатился в общее наше тушевание перед Европой.

- Не путайте божий дар с яичницей!

- Позвольте же договорить! Николай, может, и не знал русскости, но ясно видел, ощущал опасность европеизма! Космополитизма. Глобализма. Ещё не зная, что делать, он уже понимал, чего делать нельзя...

Милые, милые спорщики. Приняв залпом штрафную и ужавшись в тень Антона Витальевича, я очень искренне заужавал старших. Всей душой.

- Это вы, Иван Тихонович, позвольте! Не надо путать Европу – яро христианскую Европу, пролившую столько крови в папско-протестантских войнах за истинную веру, с некоей общемировой силой атеизма. Которая и есть космополитизм-глобализм. Вольтер – не Франция, Дарвин – не Англия, Маркс – не Германия.

- И не Израиль.

- Да, химически чистый космополит. Но и наши-то государи, увы, сами уже были притравлены этим ядком «антиклерикализма». Потому и не получилось ни у кого из них «утверждения первенства русских элементов». Ибо уже не знали они, в чём самая суть русскости! Иначе бы начинали они свои реформы не с армии или промышленности, а с церкви. С восстановления патриаршества.

- Вот тут мы единомышленники! За русскость!

- За Патриарха!

Мы дружно выпили, дружно поморщились и похрустели огурчиками. Мне стало окончательно хорошо, но задерживаться на одном месте далее становилось опасно. И я переметнулся к окружившим Жанну Олеговну опричникам. Забавно, но эта сановитая, рафинированная дама явно смогла бы притянуть к себе и скинхедов. И не заигрываниями и толерантностью, а личностной энергетикой. Вот и сейчас она важно восседала, держа спину и элегантно откинув руку с неизменным мундштуком, а застывшие перед ней, такие круто брутальные Олег, Саша и Мишаня зачарованно впитывали:

- ...По сути дела эстетический критерий является основным при любом выборе, но на низших уровнях человеческого развития он несовершенен и остаётся неосознанным. Интересы личности, семьи, рода, этноса, человечества – этические ступени от эгоизма к жертвенности, и каждый переход сопровождается нарастанием эстетизации. Духовность же проявляется в мире красотой, то есть, чистая духовность столь же не связана с бытовой этикой, сколь и красота с прагматикой. Так и получается, что человеческое сознание, развиваясь и расширяясь, не просто накапливает дополнительные критерии для точности выбора, для неопибаемости, а с какого-то момента качественно меняет саму систему этих критериев. С какого-то уровня красота становится самооценностью, и изобретательство тогда превращается в искусство, как вода в вино...

Неужели это «псы Господни и Государевы»? Даже на столь вольное употребление евангельского сюжета не запротестовали. Эх, мужики, мужики... Что, вообще, с нашим полом сделала эмансипация? Бабы пьют, курят, матерятся. И учат. И зарабатывают. Нет, увольте, меня от толерантности.

Тут я едва не воткнулся в женскую, точнее – девичью компанию, которая по закону инь-ян охороводила Микулу. Так, а о чём спич здесь?

О! Достоевский и церковь! Как же, как же, отец Валентин Асмус в своё время нас не горохом засеивал. Как же, как же: психология против идеологии – от внутренней боли нет внешних лекарств. И лишь соборная молитва излечивает общество, а не карательное или, тем паче, либеральное законодательство. Достоевский же до соборности не дорос, и потому не увидел, не показал...

Тина подкралась ко мне почти на вытянутую руку, я едва-едва успел обогнуть стол в поисках чего-нибудь солёенького. Или кисленького. А потом отступил в защитное поле Жанны Олеговны.

- ...Красота является потребностью развитого человека, потребностью активной, пробужденной души. Поэтому красота универсальна и является единственно верным языком общения меж цивилизациями, не теряющим своей духовной полноты в переводах. Василий Великий в «Шестоднев» что писал? – «Весь мир, состоящий из разнородных частей, Бог связал каким-то неразрывным союзом любви в единое общение и единую гармонию». Факт доказывает, а образ убеждает. Именно поэтому русская философия не ниже, а выше философий Европы и Китая, ибо русское сознание оперирует не понятиями, а понятийными образами. В нашей философии нет места абстракциям, она иконична – в России Истина всегда прекрасна! И потому наши философы – литераторы и живописцы...

Эх, если б брутальные «псы» ещё и пили не сухенько-красенькое, я бы тут и завис. Но пришлось рисковать, пробираясь к дедушкам.

- ...Юродивый знает тот мир. Православная метафизика не ведаёт западного страха выхода за пределы сущего, так как, в отличие от западника, русский человек видит в инобытии не своё ничтожество, а Божие величие. Наша традиция подходит к осмыслению мифологемы судьбы, так всегда, парадоксально: с одной стороны, «судьба», «рок», как самостоятельные категории не существуют, но с другой-то – основа и причина всего сущего воля Божья! То есть, Провидение.

- Ох, Иван Тихонович, промысел-то Божий предполагает свободное исполнение человеком Его замысла, свободное!

- Вы опять о свободе, дорогой Антон Витальевич? Да иллюзия она, эта ваша свобода, иллюзия сознания при несомненной реальности чувств. И не машите так руками! Впрочем,

давайте спросим молодое поколение: Вадим, в чём смысл завесы, разделяющей видимое мира от невидимого?

Когда вопрос задан правильно, ответ всегда неожиданен:

- Это в ветхозаветном храме была завеса, а у нас – иконостас. В христианстве нет глухоты и слепоты мира. Невидимое нам видимо в красоте.

Иван Тихонович привстал:

- Друг мой, подойди. – Он обнял меня, пригнув, щекотно ткнулся бородой в лицо. – Какой же ты, парень, умница.

Потом я перенёсся на живот Антона Витальевича:

- Вот она, смена. Выросла. Можно и помирать.

Мы выпили почти под каёмочку.

Ну, и какой, и где, на фиг, конфликт поколений? Какие и где «отцы и дети»? Да мы против наших дедков, как Муму против ... кирпича. Этот образ показался мне очень смешным. Очень. И, если б мой фатэр вдруг оказался здесь и сейчас, то мы бы с ним тоже обнялись. Обнялись бы и захохотали. Как когда-то, в моём далёком-далёком детстве.

- Стар, у меня сигареты кончились. – Тина вцепилась в мой рукав, потянула от стола. – Да тихо ты, не дёргайся. Вон, ноготь отклеивается.

- Возьми у Мишани.

- Хочу твоих.

- У меня нет.

- Ты ж недавно пачку открывал, я видела.

- Говорю – нету. И, вообще, я курить бросаю.

- Не гони.

- Реально.

- Лучше бы ты бросил пить.

- Всею своё время.

- И место?

Мы остановились у самой воды. А небо-то на той стороне уже чуток просветлело. Чуть-чуть, по самому горизонту, но от той серо-голубой полоски стало как-то тревожно, потянуло на какие-нибудь перемены. По воде лёгчайшим пухом кучерявилась прозрачная дымка, выставшая за ночь осока масляно искрила влажными остриями, а засевающие в ней лягушки, зайдясь в многочасовом экстазе, урчали и верещали так оглушительно, что вызвали сочувственную солидарность к молчаливо клюющим их аистам и цаплям. И, тоже молчаливо, глотающим ужикам. Ну, в самом деле, достали!

- А хочешь, я тебе глаз выцарапаю?

- Не имеешь права.

- Тогда ей. Что б знала, как с чужими парнями по ночам гулять.

- Это я сам к ней привязался!

- Знаю, потому и не трогаю. Пока. Скажи честно: ты просто ревнуешь к Никите? И бесишься.

- Нет, не к нему, а к чудной мамочкиной машине.

- Как же всё легко просчитывается. Ладно, тебе удалось зацепить меня. Теперь моя очередь. Теперь ты терпи.

Опираясь на меня, Тина стянула стрейчи, и, скинув майку, тряхнула волосами:

- Поплаваем? Нет, ты лучше постой, поддержи одежду.

И заподпрыгивала, замахала руками:

- Николай! Микула Селянинович! Кто мне обещал ночное купание? И знакомство с водяным? Я жду! Мику-ла-селя-нино-вич!

Подходивший Микула честно пытался оторвать взгляд от её фигурки. Честно смотреть только в лицо:

- Раз обещал, значит – познакомлю. И с водяным, и с русалками. А с комарами вы уже давно «на ты».

Когда и Микула всучил мне свои джинсы, кажется, даже лягушки притихли. Б...?! Кто из нас пил самогон? Б...!

Я стоял спиной к отдаляющимся междометиям, повизгиваниям и пофыркиваниям, пока те не перешли в равномерное плюханье. Похоже, Тина и Микула поплыли к плотине.

Я стоял. А вокруг набежавшие весёлые молодые люди с хохотом и гоготом отхлопывали комаров, прыгали на одной ноге, вертелись и толкались – Саша, Настя, Олег и Мишаня, раздеваясь, слава Богу, бросали свои вещи куда ни попадя. С теми же хохотом и гоготом они вломились в озеро и дружно пошлёпали к его верховью.

Я стоял с закрытыми глазами, пока не услышал рядом тоненькой голосок:

- Вадим, а вы почему не купаетесь?

- Алочка, я наказан. – От проявленного ко мне сочувствия горло даже ком подпёр.

- А я простыла. Представляете: в такую жару – и насморк.

- Ну, что ж, пойдём, полечимся. – Я бросил доверенное мне на песок.

Интеллектуальный блок Антона Витальевича и Ивана Тихоновича, усиленный эрудицией подтянувшейся Жанны Олеговны, встретил нас нескрываемой радостью гуру, изголодавшихся человеколюбивыми душами по благодатным слушателям и спасительно верным ученикам. А где Надя?

- Вадим, вы прямо таки специально на штрафные нарываетесь! – Иван Тихонович, пальцем прижимая очки на переносице, старательно дозировал.

- Господа, попрошу не спаивать нашу смену. – Жанна Олеговна протестовала не очень настойчиво. И первой со мной чокнулась. – Да, наше национальное пьянство – чистый эскапизм, стремление выйти из трудной ситуации через забытьё, так, чтобы, проснувшись, вдруг да и оказаться в совсем другом мире.

- И с другими заботами.

- Кабы так! Просыпаешься-то в мире новом, а вокруг проблемы из прежнего.

- Понятное дело. Проверенное. Неоднократно.

- Однако же вновь и вновь проверяемое.

- Нашей сменой.

- Вот забавное, точнее, неловкое определение. – Иван Тихонович усадил на своё место внучку, поправил ей платок, придвинул тарелку с нарезанными бананами. – Какие же они, и в чём нам смена? Где? У станка? За плугом? Так то в средние века, а ныне техника и технологии каждые пять лет меняются принципиально, ну, скажите, кто сегодня логарифмической линейкой сумеет воспользоваться? Не подменяют они нас, а, наоборот, совсем наоборот – оставляют. Наши дети уходят от нас.

- Не от нас они уходят, нет! Они просто идут, идут по новым путям, а мы отстаём, остаёмся. Если бы мы шли за ними, то и были бы с ними. Что нам мешает? Усталость?

- Опыт.

- Опыт того, что пути не новы.

- Никогда не новы.

Повздыхав, они вернулись к спугнутой мною теме:

- Мировоззренческий этноцентризм тейпа-рода-племени – есть принципиальное ограничение интеллекта народа. – У Жанны Олеговны потрясающий дар не вдалбливать, не учить, а убеждать и сеять. С таким бы «пирамиды» строить, Мавроди бы и рядом не стоял. – Этноцентризм провоцирует воспринимать историю только лишь как историю обид и несправедливостей от окружающих. И направляет творческую энергию народа не на созидание будущего, а на отмщение вчерашнему. В таком мировоззрении невозможна даже идея культурного развития, немыслим выход за окостеневших – нет, для рода-то – вневременных, вечных традиций.

- Но как же эпос и мелос? Ведь это история побед и славы, какие обиды у героев?

- Истинный герой эпоса – безлик, он групповой портрет этноса вне времени. А в бытовой реальности род отторгает из себя героев, ибо появление в племени неординарной личности разрушительно для примитивно-племенного самосознания...

Приятно смотреть на броненосное самообладание Антона Витальевича, а вот Иван Тихонович мельтешил:

- Но, позвольте, позвольте: наши богатыри имеют характеры!

- Это их уже в девятнадцатом веке дворянские этнографы ими наделяли. Искали оригинальные поздние и поместные варианты, в которых эпос рассыпался в сказки и басни. А, на самом деле, комплекс поведения в эпосе – матрица реакций и действий для каждого члена родового тела...

- Тебе сколько лет?

- Шестнадцать.

- Тогда пора пробовать. – Втихушку, пока дедушка отвлёкся, я подлил замершей над бананами Алочке капельку вина. Она благодарно поморгала и пошмыгала.

На берегу опять вспыхнуло веселье. Ага, конечно, одеваться-то под комариными атаками куда как нервней. Кусают они, сволочи, за всё. И через мокрое бельё тоже. Что ж, нет ничего выше и святее русского товарищества, и я, вздуваясь самоуважением, пошёл расшевеливать-раскошегаривать костёр. Благо, завезённых дров хватило бы на пару ведьм.

Где же Надя?

Курить хотелось уже до лёгочных спазмов. Однако слово не воробей, и большего унижения в ближайшее время мне уже не вынести. Я ей не Пьеро, она мне не Арлекин, и на сегодня с тысячей и одной пощёчиной в нашей комедии уже явный перебор. Сорвусь или взорвусь. Хао! Теперь и для меня, и для окружающих, лучше было б придерживаться вышесказанного. Так что, пока первые одевшиеся пловцы ещё не поднялись сушить бока, спины и плавки, я, выдавив из заднего кармана едва начатую пачку, смял, забросил и прикопал в глубине омоложенного пламени. Хао!

Тина и Микула подходили последними. Притом остававшаяся в купальнике Тина буквально висела на микулином плече, старательно прихрамывая на левую ногу, а тот с благоговением нёс её вещи. Ну, и на что она рассчитывала? Я опять капнул «каберне» в стаканчик Алле: как, полегче? – Угу, спасибо. – Но на сегодня тебе хватит. – Ага, спасибо. – А пирог ты пробовала? Держи. – Спасибо, спасибо...

Хотя толпящиеся и толкающиеся у разросшегося огня совершенно не походили на ищущих смысл жизни, Иван Тихонович решил продолжить успех примирения поколений, вторгшись в гущу влажно-возбуждённых молодых тел с предложением пообсуждать проблемы умиротворения душ. Принявшего заметно более своей природной нормы дедушку не удержали даже попытки Антона Витальевича и Жанны Олеговны разрешить проклятые вопросы русской интеллигенции промеж собою. И, естественно, очкарик нарвался.

Я пропустил начало конфликта, и включился на взрыв Олега:

- Что вы от нас ждёте?! Чего хотите?!

- Я к вам стучусь, потому как вы самые лучшие, самые чуткие из всех молодых, кого я знаю. Но надо понимать свой народ и принимать его, как он есть. Без фантазий. Вот чего в вас не хватает: понимания своего народа со всеми его... неприглядностями.

- Какое откровение: мир повреждён грехом! Новость! Открытие! Да никто ж не отрицает существования зла, но мы об иерархии чувств, о непререкаемом приоритете в нашем сердце любви к Богу, к Его законам. Ведь закон тоже можно и нужно любить. То есть – исполнять. Исполнять самим и понуждать к исполнению других.

- Да разве я об этом? Молодой человек, я же о вождах, о козлах-provокаторах... Почти уже тридцать лет назад мы всё начинали с нуля, уже набили шишек, так зачем же вам повторять-то наши ошибки? Зачем?

- Что «повторять»? Вы просто ничего не доделали! Ничего не довели до конца. И при этом ... даже не погибли со славой. – Это уже встрял Саша.

- Но тогда, после тотального марксизма, в неимении никакого политического, общественного опыта, мы были наивно честны! – Строго застёгнутый, да ещё при шляпе и очках, Иван Тихонович в окружении влажно-полуголых тел выглядел миссионером, успевшим к ужину каннибалов. Очень вдохновенным миссионером. – Мне сейчас стыдно, что мы тогда ещё ни Лосского, ни Карсавина по-настоящему не знали, но вы-то, вы уже и Петра Астафьева, и Несмелова, и Панарина прочесть можете. Да, у нас было наивно глупо, невнятно, но свежо, и потому простительно. А вдруг это ваше эпигонство! Мысли, идеи уже известно тупиковые, известно...

- Да хоть что бы вы читали, хоть что! Вам всё без толку. Вы сами – без толку. Вы не системны в своих мыслях. Не упорны в логике. Вы проболтали Россию. Промудрили.

- Но разве вы не такие? Тоже фантазёры. Только ещё не битые.

- Мы? Мы – действие. – Наверняка с таким же выражением лица Саша вlepил «с ноги» тому быку. – Не спастись, не спасая.

- Вадим. – Алочка кончиками пальцев робко «постучалась» в мою спину. – Вадим, пожалуйста, остановите ваших друзей. Дедушка подряд два инфаркта перенёс.

- Они не мои друзья. – Я вдруг ощутил дикую усталость. – Обратись к Микуле, это его.

- Вадим, пожалуйста! Где его найти?

- Микула! Ми-ку-ла! – Искать-то не долго. Микула и Тина сидели недалеко, только были весьма заняты: Тина, уперевшись пяткой в Микулино бедро, и, шурясь и морщась, терпела массаж стопы и голени. И эсэмэсила.

- Простите за беспокойство. Но ты можешь пипл утихомирить? К толерантности, на правах хозяина, призвать?

Микула как-то быстро слинял, и я присел на его тёплый табурет. В самом деле, что-то я устал. Плечи, шея чугунные, и в голове тупо-тупо. Тина зло шурилась в экран, читая ответ:

- Всё выпили?

- Нет пока.

- До утра справитесь?

- Не в первой.

Поговорили. Помолчали.

- Ты всё ещё не куришь?

- Не курю.

Помолчали ещё.

А Микула умница: он изъял из тусовки Олега, и противостояние у костра загасло само собой. Прямо и эффективно.

Правда, Олег ещё и в отделённости пошипел:

- ...я уже видел, я уже знаю нового человека. За ним идут преображённые, могут идти только преображённые, только просветившиеся фаворским светом: лишь нам дано перейти через огненный Иордан в новую Россию...

- ...да чтобы подняться личностью, нужно опираться на опыт старших. Крепко опираться, иначе сдует... – Тоже добулькивавшего Ивана Тихоновича внучка вернула к засобиравшимся по домам Антону Витальевичу и Жанне Олеговне. Приняв «на посошок», старшее поколение с дружным кряхтеньем привстало, отряхивая крошки с колен и разглаживая складки на спинах и животах.

Заметив сборы, Микула метнулся к ним, и тут же вернулся:

- Олег, не подкинешь людей до посёлка?

- У вас тут гаишники не дежурят? Я ж с промилиями.

- Только у магазина. Да и то не каждый раз, так, налётами.

- Не суетитесь вы. – Тина натянула майку. – Пусть минуту потерпят, сейчас за мной машина придёт. Я всех развезу.

- Не поместитесь.

- Тут недалеко, потерпим.

- Правда? Отлично! Просто very well!

Олег направился к соратникам, Микула понёс весть дедам, и мы с Тиной, наконец, сшиблись:

- Ты думаешь, для тебя всё так и кончится?

- Я надеюсь.

- Зря, Стар, зря. Прощать не в моей природе.

- Наследственное, что ли?

- Да, участок в X-хромосоме. И ты очень скоро это прочувствуешь.

- Ты меня закажешь?

- Уже. И тебя, и её, и всякую другую, кто к тебе подойдёт.

А взгляд не лгуший. Тина на такое вполне способна.

- Даже если на колени встану, не простишь? Рыдать буду, стенать, объяснительную напишу? И откупиться нельзя?

Пощёчина получилась не звучной, но звонкой.

Когда рубиновая пыль вокруг габариток золотистого СААБа угасла, силы меня покинули окончательно. Вокруг что-то провозглашали, что-то допивали и доедали, кого-то славословили и кому-то грозили. Наверное, шведам... Пробовали запеть... А мне всё как-то фиолетовилось. Вломливалось. И побарабанивалось...

Небо просветлело уже вполовину. Загустевший туман, переполнив озерную чашу, вцеживался в камыши и всё смелее наползал на пляж, огибая мерцающие пламенными вздохами угли кострища и охолодевший мангал. Лампочка смеркла совершенно, и только фары живили тонкую обморочность предутренних сумерек.

- Ты Надю проводил? – Микула навалился на плечи, горячодохнул в ухо.

- Куда проводил?

Я привстал, и мы упёрлись равноудивлёнными взглядами.

- Не провожал?!

Только пытаюсь не отстать от Микулы, я осознал, что нагружен весьма прилично. Пусть не как Иван Тихонович, но пьян крепенько. Лишь только мы вошли в темноту, вестибюлярка мгновенно забарахлила. Первый раз я поскользнулся и упал, взбираясь на бетонный мосток водозапора, потом пару раз ни за что споткнулся на дамбе. Боли не чувствовалось, грязи не виделось, зато трудности нашего почти бега успокаивали совесть – вот, дерзаю и страдаю ради исправления ошибок. Не сдаюсь. Не оставляю товарищей.

Узкой рыбацкой тропкой мы продвигались к усадьбе. Микула не оглядывался на мои проклятия жидким ямкам и сухим кочкам, не оглядывался даже тогда, когда я на поворотах заваливался в предательски податливые камыши. Но, кроя темноту, грязь и рыбаков, я всё же не сдавался и не оставлял товарища. Настоящий мачо поднимется всегда. Из всего.

Ворота оказались не заперты.

И тут я устал окончательно. Даже затянуть за собой створу сил не находилось. А пофиг. Честно качаясь и мотаясь, я лишь на самурайском боевом духе добрёл до крыльца директорского дома и повалился на ступеньки. Сердце молотило в виски, глотаемый воздух расцарапывал горло, пот щипал ссадину на ладони. Но, главное, отставшая, было, совесть тоже добралась до крыльца и накрыла страхом.

Какие же каши я сегодня только не заварил! Вот сейчас все сойдутся, и раскроется. Всё раскроется. Какой я урод. Конченный. Отстойник. Редиска. Пит-босс. И тупой: зачем? За-чем-мне-всё-это-бы-ло-нуж-но? Височные артерии просто рвало.

Может, взять да смыться? Сменить симку, мыльные адреса, расконтактироваться. Исчезнуть. Москва агроменная. И скоро будет ещё оковальней. Сколько же в ней таких вот уродов удачно наказания избегает. Нет, тогда уж надёжнее сразу махнуть в Штаты. Чтобы даже самой малой доли вероятности не было столкнуться с тем, кого по жизни замутил. Да, надо смыться, чтобы всё заново. С чистого листа. И зубы все останутся.

За спиной раздалась чьи-то страстные голоса, потом их перекрыл детский визг. Двери распахнулись, и на несчастную мою голову чуть не наступила Надя. Визжала висевшая, точнее, волочившаяся за ней Ленуська, а выскочившие на крыльцо вслед Модест Александрович и Микула лишь неслышно раскрывали рты. На мгновение все примолкли, удивлённо рассматривая меня. Когда же я со второй попытки всё-таки встал и удержался за балясину, они вновь разом зашпорили.

- Надежда! Прекрати нести чушь! Никуда ты не пойдёшь!

- Пойду! Как ты смеешь, после того, что выгонял несчастных детей, как ты вообще смеешь?!

- Прошу вас, Модест Александрович, Надя, перестаньте! Я уже пошёл искать.

- Постойте, Николай, вы там такого наворотите. Надя, остановись! Остановись, я приказываю!

- Ещё и приказываешь?!

Стянувшаяся за Надиной ногой с крыльца Ленуська опять включила сирену.

- Да уймите её!

- Модест Александрович! Надя! Оставайтесь здесь! Я уже ушёл!

- Нет, Николай, я беру машину, и мы едем вместе. А ты, истеричка, не смей покидать усадьбу! До нашего возвращения!

И тут я увидел, как на бледно-розовом предутреннем фоне вырастает бледно-синий столб дыма. Где-то в районе станции.

- Там пожар.

На мою негромкую реплику никто не обратил внимания.

- Нет, если уж едем, так вместе. – Надя, присев, прижала к плечу всхлипывавшую Ленуську.

- Нельзя бросать усадьбу!

- Надя! Модест Александрович! Оставайтесь, я пошёл один!

- И, потом, что ты там будешь делать?

- Удерживать вас от глупостей. А здесь пусть остаётся ... вот Стар!

Дымный столб достиг предельной для себя высоты и, ударившись о невидимый ветряной поток, загнулся под прямым углом.

- Пожар. Что-то здорово горит.

Наконец-то меня услышали. И заозирались.

Через семь минут, когда мы жёстко затормозили около угла двухэтажного серо-штукатуренного узкооконного дома послевоенной постройки, со встречной стороны улицы подлетали сине-рубиново мигающие и воющие пожарки. Вот, хоть тресни, но когда я вижу эти большие красные с белым машины, меня всегда разбирает какой-то детский восторг. Они как великанские игрушки, как рекламные Санта-Клаусы, своим прибытием возбуждают у меня приступы бессмысленного веселья, хотя их вид должен бы обозначать опасность, а то и горе. Но не только у меня.

Горела квартира на первом этаже. Три зарешёченных окна дырами осыпавшихся стёкол выплёскивали вверх по стене струи огня и дыма, дым валил и из-под крыши – наверное, он поднимался туда по лестнице. Огненные струи скользкими бликами играли в стёклах ближних домов, усиливая картину жутковатого праздника. Не менее сотни людей

разных возрастов и в разной степени одетых металась перед огнём, но, понятно, большая часть жильцов и зевак собиралась с задней стороны, около подъезда, где шла эвакуация.

Ленуська опять завизжала – ведь выгорала квартира Анки-Решето!

- Иииии! Мама! Мамочка! Иииииии!

- Не кричи, найдётся твоя мама, обязательно найдётся! – Надя, рывком подняв на грудь, изо всех сил прижимала бившуюся в истерике девчушку, а Микула и Модест Александрович побежали вокруг дома.

- Мама! Мама! Мама!

Первая пожарная машина перекрыла фонтанирующие пламенем окна, несколько фигур в тяжёлых костюмах и экранированных шлёмх слаженно заразворачивали шланги, завываламывали раскалённые до красноты решётки. Вторая машина прижалась к первой, перекрыв улицу, а третья, шумно обламывая тополя, завернула во двор. Под ударом первых брандсбойных струй резко потемнело, обильный пар серым облаком перекрыл половину здания.

- Граждане, отойдите на безопасное расстояние! Отойдите! Не мешайте тушению!

Теснимые подоспевшей полицией всё прибывающие зеваки толкали нас, и, боясь потеряться, я попытался перехватить Ленуську. Однако девчоночка клещом вцепилась в Надину шею. Ленуська уже не кричала, а только безумно округлившимися глазёнками неотрывно следила за работой пожарных. Взбившиеся волосёнки наэлектризованно топорщились во все стороны, ротик ужаснулся почти в точку. И скрюченные на Надином затылке грязные пальчики. Господи, да это же шок!

А вокруг одинаково бледные в предрассветьи лица – мужчины, женщины, дети... Возбуждённо блестящие глаза, разинутые рты... Многие снимали на телефоны, а когда посыпались стёкла с окон второго этажа, за криками мне почудились аплодисменты... Кавказ и Азия перекликались на своих языках, но мат был общим... И посреди всего – крестьящая старушка...

- Надя, уходим, мелкая не выдержит. Свихнётся.

Надя кивнула и послушно последовала за мной. Я продавливал, разгребал локтями дорогу в любопытных, а она ребёнком прижималась к моей спине. Ещё немного, ещё... Вот мы и выбрались. Фу...

- Граждане, отойдите на безопасное расстояние! Отойдите! Возможен взрыв газа!

Отхлынувшая в страхе толпа вновь окружила нас. Пришлось опять включать локти.

- Тётя Надя, а я описилась.

- Ничего, маленькая, ничего. Сейчас помоемся, постираемся. Сейчас. Ага, вот как раз и папа гудит. – Надя вскинулась на звук клаксона.

Взбравшийся на скамейку Микула махал нам руками. В «рав-четвёртом», отъехавшем от пожарной суеты на полусотню метров, кроме Модеста Александровича, сидели Хома и Вовка. Оба лицами в пол.

- Уезжаем. Надя, Николай, быстро с детьми в машину. А вы, Богдан Фомич, с Вадимом дойдёте?

Хома открыл дверку на выход, но Вовка закричал:

- Нет! Нет! Я без него не поеду! Не поеду!

Заплакала и Ленуська.

- Что за капризы? Ладно, Богдан Фомич, возьмите его на руки. Вадим, вы один дойдёте? Как вы себя чувствуете?

Что ответить? Курить хочется, а так-то что – толи мы не мужчины?

- Я пойду, пусть Стар с вами. – Микула спрыгнул на асфальт. – Дойду, поезжайте.

А вот я капризничать не собирался.

Модест Александрович высадил нас около своего рыльца, но Надя сразу повела Ленуську в баню, а Хома и Вовка, ну, и я с ними, направились в мастерскую. От того, что

вот-вот должно было взойти солнце, всех здорово знобило. Ещё бы: такая ночь позади. С песнями. Иллюминациями. И прочими приключениями.

- Я – сильный. Я – бросил курить. Я бросил. Бросил. Окончательно. Бесповоротно.

Сидя на крыльце и бормоча заклинания, я чего-то никак не мог зайти в дом и сквозь накатывающую свинцом дрему смотрел, как макушки тёмных яблонь заблестели розово-золотым отливом зари, и на последних остатках сил слушал, как из пряной от безветрия листвы восторженной переключкой птицы встречали наступающее утро. Вру, конечно же, – я ждал Надю с Ленуськой. Куда они после помывки? К нам или в директорскую?

Под чуть-чуть-чуть приопустившимися веками мельтешили и толкались картины поцелуев на дамбе и пляжной суеты за камышовым занавесом, чёрного в белых брызгах ромашек поля и басыщего Олега... *Там дева с чёрными бровями, Она взрастёт не для меня...* Караси выпукло золотились на блюде, маленький старичок разливал самогон, но жалкий Микула нёс к Наде чужую майку, и Ленуська безумными глазёнками смотрела в пожар... *Пой, золотая рожь, пой кудрявый лён...* Откуда-то появился отец, поманил пальцем, но нельзя: есть комнаты, в которые не входят без приглашения и есть бремена... *А для меня – кусок свинца...* Папа! Я же – смена! И если б ты оказался здесь и сейчас, то мы бы с тобою обнялись.... Но опять сухонький, белобородый старичок в широкополой шляпе осторожно вёл под руку девочку-подростка... *Пой о том, как я в Россию влюблён...* Ленуська вцепилась в Надю: мама, мама... И откупиться нельзя...

Всё же я придремал и пропустил их выход из бани.

- Стар, ты это чего здесь? – Микула покачал меня за плечо. Мимо Олег, Мишаня и Саша вносили в дом коробки и мешки с посудой и недоеденным. Я посторонился:

- Чего-то сморило.

- Вижу. А кто где?

- Хома с Вовкой здесь, а Ленуську, похоже, Надя увела к себе.

- Тогда давай так: на наших кроватях пусть ложатся Саша с Настей, а мы внизу обустроимся. Спать-то осталось часа два-три. И начнутся будни.

А я уже выспался. Правда! Каких-нибудь полчаса – а в глазах появилась резкость, слух на полную, вот только тело затвердело. Со стоном разогнув затёкшие ноги, я как-то привстал, на раскорячку спустился со ступенек. Покрутил задом – поскрипел поясницей.

- Стар, ты пойдёшь, тоже обмойся.

- Чумазый?

- Не то слово. Там смотри: тёплая вода в котле над печкой, тазик возьмёшь с полка, а я ребят устрою...

- Олрайт. Разберёмся.

Поскрипывая и постанывая, я едва доковылял до бани. Протяжный внешний сарай укрывал в дальнем углу небольшой сруб-парилку. Справа, около печи, в окружении табуретов круглый стол с электрическим самоваром и чашками, слева по потолку – провисшие шнуры для сушки белья. На подоконниках и по всем стенам – веники, тазики, полотенца, шапочки, варежки, полки с разноцветными коробками и банками. А ещё особый дух – смесь запахов смолы и мяты, сухих и распаренных листьев, преющих полов и печной золы.

Раздевшись в предбаннике, я зашёл в сыро-тёплую парилку. Кроме ссадин на ладони и плече, левое бедро изнутри украшал огромный синячище. Надо же, и когда это я, и где? Больно! А вот ещё один – на самом мягком месте. Не понятно, как выглядит, я его просто нащупал.

Тёплая вода и шампунь, потом вода холодная – что ещё нужно на похмелье? Чаю бы. И сигарету. Ах, да, я же бросил! Слышишь, Тина – я бросил! И курить тоже.

Окатившись напоследок, я, довольно отфыркиваясь, вышел в предбанник и увидел плачущего Хому. Спина ко мне Хома раскачивался на табурете и, сжимая ершисто выстриженную голову до складок на темени, тихонько был.

Обойдя круглый стол, я присел напротив и выцедил из самовара с полстакана воды. Осторожно спил до белесого осадка.

- Ты понимаешь, это же Вовка, Вовка квартиру поджёт. Подпёр двери и пожёт. С людьми. – Хома крючился, толчками касаясь лбом коленей. – С отчимом. И этими. Ты понимаешь? Как ему теперь?

Я привстал. Ни фига себе. Ни-фи-га-се-бе...

- Влад, он же теперь убийца – как ему жить? Как?!

Вот это жесть! А ведь как вчера малый держался. Я, доглотнув осадок, машинально сплюнул.

- Он вчера ночью привёл сестру и убежал. Ленуська рассказала: там была пьянка безобразная, со скандалом. Анну избили, и она с детьми ушла. Но потом сама начала над ними издеваться. Вовка и привёл Ленку ко мне. Хотя Модест категорически запретил.

Блин, в самоваре больше ни капли.

- Ленуська в трансе, не сразу рассказала, что к чему. Но я, как только включился, её сразу к директору – пусть дети пока у меня. А тот забыচারил. Мол, приказывал же не пускать. Спасибо Наде, чудо она, молиться на неё можно. А он – болван, и как бы я мог ему сказать, что, получается, Вовка-то за нас, за нас вступился! Ведь этим уродам заказали нашу усадьбу спалить, бензин подвезли. И я знаю, кто канистры привёз. Знаю! Усадьбу! Шесть канистр! Ты же видел, какой факел получился? – Хома пристукивал себя по вискам кулаками, а я зачем-то внимательно разглядывал тяжёлые вены на его сухо-мускулистых руках и морщился от ударов, словно они приходились по мне. – Какой факел! А должен был музей гореть... Но, сам понимаешь, я же не могу никому рассказать о том, что это сознательный поджёт был, Вадим, не могу! А каково скрывать? Мальчишка-то за нас убийцей стал, пусть урок, отмороzków, но убийцей! А Модесту ничего не объяснишь! Модесту свои дворянские амбиции, свой шляхетский гонор лелеять надо. Он, если узнает или додумается, – сразу сдаст полиции. Да ещё и нотации зачитает: давно, мол, надо было в детдом.

- Что сейчас с Вовкой?

- Забылся. Жар у него, под сорок. Я полотенце пять раз смачивал.

- Может, «скорую» вызвать?

- Тогда сразу в психушку.

- А кто ещё знает?

Хома распрямился, с силой растёр по лицу слёзы.

- И ты молчи. Все молчите! Все! Я его на Соловки увезу. Спрячу. Потому что это должен был сделать я.

И вышел. Точнее, выбежал.

Да, загрузил Хома по-полной. И обошёлся же без единого философского термина.

Как смог, я отшоркал измазанные глиной джинсы, натянул. Перевёл дух. Ну, а мне-то куда? В мастерской спали, в директорской, поди, тоже. А, может, смотаться пока до станции? Взять пивка, голову анестезировать. Заодно что новое про пожар проведать.

Ещё на раз отряхнувшись, я выскользнул за ворота. Проходя мимо Креста, остро почувствовал толчок, точнее – словно в лицо чем-то горячим плеснули. Отвернувшись, прошмыгнул мимо. Как утверждали древние греки: совесть – это голос Аида.

Ослепительно солнечный луг, ударившись о заросшее мелкой ольхой поперечное взгивье, остался за спиной, и меня накрыла рябая лесная тень. Грязевой тропинкой пересёк никогда невысыхающую ложбинку. Где-то далеко тарахтел дятел, а впереди, пересвистываясь, перепархивала пара ярких щеглов. Шурша зависающей над тропинкой редкой травой и сердя толстых шмелей, я проходил мимо самой старой тут ели и недавно

разбитой молнией берёзы, мимо раскоряченного дуба и мимо залепленного кроваво-красным лишайником тополя.

Убийца в тринадцать лет. Жесть. Жесть! И что, Хома надеется такого в человека обратить? Бредятина. Такое навсегда. Необратимо... Но, а с другой стороны, попрячься от пьяни в собачьей будке. Да ещё и с младшей сестрёнкой... Что же в таких условиях есть «убийство»? Ну, не месть, точно! А что? Самозащита? То есть – адекватность? Жуткая, сносящая голову, но – адекватность: надо убить, чтобы жить... Беспросвет. Господи, и где же Твоя защита, в чём Твоя гарантия от попадания в такие ситуации? В святости, в праведности? Но и Ты сам, и Твои святые попадали в невыносимость. В совершенную невыносимость... В чём вина этих соплюшек, от чего такое их невезение?! Случайностей же не бывает. За грехи родителей? Или же: сильным – испытания большие, слабым – меньшие? Тогда я не хочу быть сильным... Не смогу... Я не сильный, Господи! А как в таком случае не стать убийцей? В слабости-то... Вот, и сытые, и, того более, пресыщенные убивают – из эгоизма, из-за жажды ещё больших благ, а нищие – из-за голода. И все, все – из-за страха... Есть, конечно, ещё сатанисты, для которых смысл и радость жизни в мести. А есть учителя, вожди и судьи человечества, и те убивают идейно, убивают несогласных с ними. Из честолюбия, как отморозки... И, всё равно, из мальчишки теперь человека не выйдет. Теперь? Или Вовка уже давно такой, изначально? Нет, он – ребёнок, который ещё не жил, но уже выживал. И здесь, как ни крути, он поступил адекватно. Просто адекватно. Жесть, конечно. Логическая жесть...

У дверей загнутаго подковой магазина кучковались молодые кавказцы.

- Мабилу купишь?

- Спасибо, нет.

Оглядывая стандартные пиво-закусочные витрины, неспешно дождался пока толстая продавщица выставила холодную банку «туборга» и лимонный «орбит». «Чего ещё нада? Сэгареты?» – «Спасибо, нет». И я двинулся, было, на выход, но в этот момент в магазин вошли две дачного вида бабки, громко обсуждавшие утреннее событие:

- Да это наркоторговцы меж собой разборку устроили! Точно тебе говорю, всё, как по телевизору показывают. – Первая, не останавливаясь, плыла в направлении прилавка и говорила назад через плечо. – Что, ты эту потаскуху Анку не знала? Вечно пьяная, а детки побирались.

- Чего это не знала? – Вторая, пыхтя, замешкалась с колёсной сумкой-тележкой у порога. – С самого еёного детства: она ж с моим сыном в одном классе училась. Но, тогда-то, Анна хорошей девочкой всем казалась. Дерзкой только.

- Не понимаю, о чём ты. Сколько я помню, всегда в их подъезде – пьянки-гулянки, мордобой, милиция. Криминальные сборища. Не понимаю, чего ты её отбеливаешь.

- О покойниках по-плохому не надо. Грех.

Что? Что?! Я завернул к стояку терминала, якобы кинуть на телефон.

- Конечно, не надо бы. Страшно и подумать, что б так умереть – в огне-то. В дыму. Мужиков еёных не жалко, а вот она, хоть и алкашка, но такую смерть не пожелать. Когда выносили – вонь-то была. Теперь от шашлыка тошнить будет. И, как вспомню о детях, что сиротами остались, так не могу не думать: может, после всех тех кошмаров, что им родная мать устраивала, ребятишечкам теперь полегче станет? Может, хоть теперь они по-человечески заживут.

- В детдоме, что ли?

- А чего? В детдоме нынче получше, чем в иных семьях. И кормят, и чисто, и игры у них, компьютеры. Я по телевизору видела.

- Перестань глупости молоть. – Вторая бабка, наконец, управилась с тележкой и тоже нагнулась над прилавком. – Ты этот сыр брала? И как он тебе?

- Бэрите, хороший, савсэм свежий...

Так. Так. Так.

Значит, Анка вернулась в квартиру, а Вовка не знал...

И запер.

Так. Так. Так.

Выйдя на улицу, я несколько раз принудительно глубоко вдохнул-выдохнул. Как чешутся ладони. И запахи, отовсюду запахи! Я так взглянул на опять подвалившего, было, юного хача, что тот сам всё понял и мгновенно отвял со своим китайским «айфоном».

Дотерпев до сворота в лесок, я рванул. Надо было успеть предупредить Хому, пока все спали. А, главное, пока в усадьбу не подъехали следователи. Ведь, наверняка, кто-то из соседей видел нас с детьми на пожаре. Предупредить о таком вот заповесть.

Пробежав лесок на полную выкладку и задохнувшись, по лугу я уже едва трусил. Надо же, насколько восприятие внешней природы зависимо от внутреннего самочувствия. Заливаемый хорошо уже приподнявшимся солнцем простор сейчас был излишне открыт, ненужно просматриваем, враждебно затаён. От росы не осталось и следа, остролистая жёсткая трава понуро ожидала неминуемого полднего жарова – в небе ни облачка. Да, ещё вчера здесь *царила жизнь и радость*, а ныне всё *как бы в испуге*. А там, за занавесом *сизым, Сквозит и блеск, и темнота*. Уже сквозит. Неизбежно. Только темнота не там, а тут, со мной, на мне. На моих плечах. Вот, блин, бегу, бегу, несу весть. За которую раньше голову отрубали. Так ведь её надо будет ещё как-то высказать, выговорить. Хоме в лицо. О том, что любимую им женщину сжёт дорогой ему мальчишка.

От ужаса перед этой мыслью меня вдруг закосило, повело на сторону, и я сел. Я сидел, хлопал ладонями по отнявшимся ногам и орал.

Ну, что это за проклятье такое – любить? Что за проклятье? Почему человеку это обязательно? Почему? Зачем? Зачем человек ждёт её, эту любовь, ждёт как радости, как счастья, ждёт в восторге, а потом лезет в петлю? Откуда это желание, жажда неизбежных, неотвратимых тревог, ревности, боли, даже отчаянья от невозможности помочь или защитить того, кому себя отдаёшь? Отдаёшь! Почему в любви всё так не по твоей воле?!

Ты рождаешься, ты ещё не умеешь говорить, ходить, не знаешь право-лево, но ты уже, уже любишь! Ты изначально, от сотворения твоей души, от зачатия твоей плоти уже запрограммирован на это душевно-телесное притяжение к кому-то другому. Ты растёшь, растёшь, и твоя любовь расширяет охват, и к матери и отцу прибавляются бабушки и дедушки, тётки и дяди, плюшевые мишки и беленькие котик. Но, до поры, эта любовь – лишь потребность получать, желание принимать помощь и заботу. Ты ищешь и ловишь тех, кто отдаст тебе себя. Твоя любовь – слабость. И трагедия – равнодушие к этой твоей слабости. Но вот, с какого момента человек уже и сам хочет защищать, помогать, заботиться – ты хочешь сам быть кому-то нужным навсегда необходимым. Что тогда происходит с твоей любовью-слабостью? Она у-ходит? Нет. Она вос-ходит в «Отче наш, иже еси на небесах», пере-ходит в «Царь православный, царствуй на славу», в «Свои ладони в Волгу опусти». Вера, Царь и Отечество. Перед ними ты слаб навсегда! До самой смерти будешь ты благоговейно искать их покровительства, требовать их силы, ты иссохнешь, исчахнешь без их участия, разрушишься без их воли в тебе.

А что с новым ощущением, с желанием, с тягой заботиться самому? Взрослость – ответственность, ничего более. С какого же возраста ты без подсказки делишься личным, бросаешься на обижающего не тебя, жалеешь ушибленного? И первые, кого ты жалеешь и с кем делишься – всё те же мать и отец, бабушки-дедушки, тётки и дяди, плюшевые мишки и беленькие котик. И вот... Она, она – твоя половинка, половинка души и тела, в полноте с которой благословенны дети. Дети! Твои дети. Так требующие твоей заботы, жаждущие получать, принимать. Требующие тобой гордиться. А ведь есть ещё призвание и ремесло – дело твоей жизни, твой талант, который тоже ищет и ловит тебя.

В какой-то момент ты осознаёшь своё счастье только как свободную, своевольную жертвенность. Только так. В этот-то момент твоя любовь и становится силой. И теперь все твои тревоги и муки, стыд и страдание, твоя главная и постоянно рвущая сердце боль – в бессилии или ненужности твоего самопожертвования. Опять, опять боль! Любовь-боль!

Я орал, орал, взывал к высоченному безоблачному небу, к звенящей кузнечиками траве, к дальней речке, тонко прорезавшей камышовые заросли. Я взывал к яблонево-липовому оазису усадьбы, ко всему тому, где *царила жизнь и радость*.

Трагедия, боль, горе, страдание, стыд... муки... А ты, человечек, ты сохнешь и чахнешь, разрушаешься без них... Что же это такое? Зачем оно? Почему любовь – такая? Такая жгучая страсть... Откуда в тебе это желание, эта жажда неизбежных, неотвратимых тревог, ревностей и боли, даже отчаянья от невозможности помочь или защитить того, кому себя отдаёшь? Отдаёшь ведь! Отдаёшь... А если я не хочу? Не хочу, не желаю быть таким ... слабым? Тупо боюсь такой слабости-ненужности с её стыдобищем.

Прости. Прости, Господи! Ты ведь и сам плакал на кресте – не от телесной боли, не от предательства учеников, нет! Нет! Слёзы катились оттого, что Ты уже знал, Ты уже видел со своей Голгофной высоты: слишком для многих на Земле твоя жертва окажется бессмыслицей. Многие, многие не захотят Твоей любви. Не захотят...

Фу! Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного! Фу! Неужели это я спрашивал: «зачем любить»? И кого же это я спрашивал: себя или Тебя? Вот тупость-то! Господи, прости мне мою тупость, ведь это то же самое, что спрашивать: зачем жить? Или: зачем умирать? Я себе не ответчик, а для Тебя... это просто, всё так просто: по-то-му-что-родил-ся! Потому что живёшь. Любить – и значит – жить. Больно, но любить – это жить!!

Прости же меня, Господи! Прости...

Наконец-то мне удалось привстать на колени. И поползти, поползти на карачках, как младенцу. Стрекозы пикировали и кружили у самой головы, удивлённо потрескивая и состригая мошкарку вокруг взмокших волос. Жуки и муравьи не уступали мне дороги, а стрижи с невозможно горячей высоты звонко смеялись надо мной. Но я полз. Полз!

Лишь минут через десять ноги почувствовали себя, и я сумел подняться в полный рост. Покачиваясь и балансируя взмахами рук, я медленно, слишком медленно пошёл к усадьбе.

И опоздал.

Серый с синим полицейский микроавтобус уткнулся в приоткрытые усадебные ворота. Пустой. Как и стоявшая чуть далее вишнёвая с чёрным «восьмёрка».

Все толпились около директорского флигеля: трое квадратных полицейских в форме, круглая официальная дама с портфелем, Модест Александрович и Надя, Микула, Олег с Мишаней, Саша с Настей. Ленуська. И Хома, державший на руках завернутого в бежевый плед Вовку. Для полноты картины и завершённости протокола не хватало только меня.

Но, пока я подходил, протокол, видимо, был закрыт, и началось бурно-броуновское движение: Ленуська пряталась за Надю, Олег махал руками перед дамой, самый крупный полицейский принимал Вовку, а Настя и Мишаня оттягивали Сашу от двух других стражей правопорядка, готовых применить к нему каучуковые спецсредства. Модест Александрович и Микула что-то активно доказывали друг другу и Наде. И даме, и Саше, и Олегу. И Ленуське, которую дама пыталась оторвать от Нади. Лишь только состёгнутые наручниками Хома и сержант, постояв, как-то дружески согласно вышли из кипящей тусовки и молча направились к воротам.

Поравнявшись, Хома на какую-то долю секунды вскинул на меня свои огромные серые, близкоседающие глаза и вновь потупился.

И я понял. Всё для себя о себе понял.

Не знаю как, но это происходит, и бывают, есть такие моменты, когда люди передают друг другу гигабайты информации без единого слова или жеста. Только столкновением взглядов. Оглянувшись, я бесстрастно отстранённо отметил, что Хома совершенно поседел. Но это было настолько не главным, настолько пролётным, в сравнении с тем, что я только что узнал: Хому уводили, уводили на страшные, запредельные унижения, клевету и побои, на полицейские и уголовные пытки и лишения

в камерах и лагерях, уводили на невысказанно долгие годы голода, холода, трудов и болезней – невысказанно, несказуемо долгие, а, может, и навсегда, но он готов, он сможет удержать, донести своё достоинство. Донести до смерти. До Суда после смерти. Ибо он принимал это не от мужеской мачовой гордости, не ради эффектного благородства заступника сирот, а потому, что для Хомя «это должен был сделать я» стало реальным «это сделал я».

Вовка на руках здоровяка-полицейского толи спал, толи был без сознания. А вот Ленушку тащили чуть ли не волоком. Дама и бледный, язвенно тощий, очень довольный собой капитан. Наверное, следователь, раскрывший преступление по горячим следам. Ему моё свидетельство в «деле» стало бы излишеством. «Дело» не меняющим.

После отъезда полицейской машины, собрание ещё несколько минут продолжилось перед воротами. Микула страстно растолковывал последние события Олегу и Саше, Модест Александрович, менее эмоционально – Наде и Насте. Мишаня попеременно слушал всех, а я... меня просто трясло.

Машинально приложил завибрировавшую трубу к уху:

- Ало.

- Стар, немедленно приезжай ко мне. Но наскоро расскажи, что у вас за хрень? Я телек смотрела, кого там сожгли?..

Блин! Тина реально не верила в мою свободу? Ей же объяснили: я бросил! И курить тоже. Пришлось отключить телефон.

Митингующие очень вовремя вошли в усадебные ворота – меня вдруг вывернуло. Едва успел до забора. Облегчённо отплевавшись и утеревшись, опять закачался. Так, что чудом не сел в свою лужу. Боже, прости меня за мою неэмоциональность, но я хочу спать! Просто, тупо, но я уже не в состоянии ничегошеньки воспринимать. Ничегошеньки чувствовать. Я переполнен, перегружен, перегрет. Мне честно жаль Хому, жаль Вовку, Ленушку. Жаль Надю и ... Тину тоже. Честно. Но я более не способен ни на мысли, ни на эмоции.

Поэтому я довольно вяло пожал руки отъезжающим опричникам, отмахнулся от Микулы и выключился.

Микула сидел за компом и интенсивно что-то выстукивал. Но на стон обернулся мгновенно:

- С возвращением!

- Откуда? Куда? – Посипел я вполне искренне, так как ощущение невесомости ещё только начало покидать тело.

- Оттуда сюда.

- Полное мажевию. Последний вопрос: кто я?

- Личер из племени Чатлан. И не скули: мажевию приятнее дежавю. Но, главное, – ты бросил курить. Помнишь?

- Это не я. Это оно меня. И она. И ты. Короче, все меня бросили. Или кинули.

Микула встал, заслонив окно, сложил какие-то бумажки в отвратительно красную пластиковую папку. Потом подвинул стул и быстро подсел к моей кровати:

- Стар, мне показалось, что ты, ну, как-то дуешься за то, что я ... что тогда мы с Тиной? Но это, я понимаю, это она на тебя играла, нарочно дразнила.

- И я понимаю.

- Да? Спасибо за понимание понимания!

И что теперь? Микула ждал, что я тоже начну извиняться за Надю?

Зря.

Пробуждение с каждой минутой возвращало липкость пережитого ужаса: безумно округлённые глазёнки уже некричащей Ленушки, её наэлектризованные волосёнки и скрюченные пальчики... одинаково бледные в предрассветы лица... разинутые рты...

аплодисменты... «...выносили – вонь-то была. Теперь от шашлыка тошнить будет»... «...это должен был сделать я»...

Эх, Хома ты, блин, Хома... Богдан Фомич Карачун, мало-бьяло-рус... Любомудр-славянофил, унаследовавший через Ницше постулаты школы киников... Вот кто теперь канареек кормить будет? Если тот следак не захочет истину рыть. Но, на кой ему и его начальству истина, если есть признательное показание? Ни на кой.

Опять зазудели ладони...

- Фома на следственном эксперименте проколется. – Микула в правду верил. – А у Антона Витальевича есть хороший друг адвокат. Так что, не всё кончено.

- Остынь. Это решение Хома. Его воля. Уважай человека.

- Какое-такое решение? Какая-такая воля? Он же в шоке. Невменяем. Посидит, включится. И, потом, я уважаю, мы все всегда будем уважать его поступок – взять вину на себя, закрыть ребёнка. Но Вовке-то и тринадцати нет, его не осудят...

- Ты чего?! Ты, что, полный идиот?! – Я заорал так, что Микулу отбросило. Теперь я заслонил ему окно. – Хома не вину взял, Хома жить без неё не захотел! Ты, чурка с глазами! Не можешь в такое врубиться? Он-не-захотел-жить-без-любимой-женщины! При чём тут всё остальное? Всё остальное...

Я сбежал по лестнице, хлопнул дверью, и остановился только перед музеем.

- Тупица: богатыри – не мы. Если ты этого не понял, то забудь Надю. Забудь.

Из узкого коридора в в истопническую, через столовую в главную залу – я двигался на звук фортепьяно. Тёмные деревянные потолки, тёмные полы. Заставленные тёмной мебелью тёмные стены. После полуденного солнца глаза привыкали трудно, но мне удалось ничего не зацепить и ни за что не зацепиться. В переливчато подкрашенной заоконной зелени полутёмной зале, Надя, в накинутой на плечи белой редковязанной сетке и коричневом длинном платье сидела за коричневым же инструментом. Откинута светлая голова с нетуго подтянутыми затылочным гребнем волосами. Тоненькая шейка, узкие плечики. Слишком лёгкие для клавиш пальцы. И слишком медленные темпы для Рахманинова.

- Что это?

Моему появлению она почему-то не удивилась:

- Номер два третьего опуса. Прелюдия до-диез минор. Это его ещё студенческая работа.

- Да, вспомнил. У меня же мама в музыкальной школе преподаёт.

- А ты сам играешь.

- Отбил.

Я опёрся ладонями на фортепьяно и, склонив голову набок, заглянул ей в лицо:

- Я сейчас уеду.

- Хорошо.

- Что хорошего?

- Всё так запуталось. Заплелось. И лучше не затягивать в узел.

- Так само-то, всё равно, не развяжется.

- И хорошо. Пусть так останется.

- Но я вернусь? Надя?!

- Не нужно. – Она дождалась, пока дозвучат струны, и осторожно опустила крышку на клавиши. – Ничего, Вадим, не нужно. Ни тебе, ни мне. Не возвращайся.

- Почему? Надя, ты же сама уже знаешь, что Микула не твой герой!

- Ты тоже. Не мой. И потише, пожалуйста.

В самом деле, чего это я? Надавить, что ли, пытаюсь? Типа, раз уж целовались под луной и перепёлку слушали, всё, теперь моя. Собственность.

Какая тишина. Кажется, что слышны тени колышущихся за окнами яблонь.

- Ладно. Пусть станет по-твоему. – Я выпрямился. Спрятал руки за спину. – Жаль, конечно. Ведь чуть, было, в любви тебе не объяснился.

- Не жалей. Скажешь сгоряча, и попадаешь к своим словам в заложники. Начнётся остывание, а отступить стыдно. Произнесённое – держит.

- И плющит. Ладно, давай прощаться?

- Давай. – Надя тоже встала. – Влад, ты только не обижайся. Ты очень хороший. Только, прости, неуверенный. Потому и кусчий. Даже не знаю, чего тебе пожелать. Самомнения?

Чего? «Неуверенный»?! Это, что: столь любимое женщинами сравнение? Того с этим. Этого с тем. «Неуверенный». Хотя, почему нет? Она же не снегурка какая-нибудь. Худенькая, бледненькая, но женщина.

- А я осенью в армию пойду. Вернусь Героем России. Тогда и приеду к тебе.

Надя вдруг придвинулась и поцеловала меня в щёку:

- Тогда – приезжай.

Пока я собирал рюкзак, Микула говорил и говорил, оправдывался и оправдывал. Даже советовал. Потом, с моего разрешения, проводил до ворот. Опять же, оправдываясь и оправдывая. Мы обнялись, ткнулись кулаками: «до связи». Всё равно, я ему должник. Ведь, по-любому, Микула рулезный, и только он своим оптимизмом смог перезагрузить мою зависшую логику. Только к нему я решился приехать с вопросами, и теперь уезжаю с ответами. Микула – мне друг реальный. А вот я ему...

С поворота оглянулся: дощатый с кирпичными столбиками забор, у рифлёных ворот – в узкой арке улочки-аллеи из рябящих листвой яблонь и тополей – памятный трехметровый крест на месте домашнего храма Рождества Иоанна Предтечи. «Прости меня, Господи». И благослови.

Благослови.

За окном электрички массивы вдольдорожного сизо-чёрного ельника неожиданно расступались то подножиями сглаженных светлых холмов, рябящих сосенно-берёзовыми гривами, то пустынными луговыми поймами, испетлёнными мелкими речушками, дымку горизонта редко царапали трубы или колокольни. Кругом царила жизнь и радость, и через пятьдесят семь минут – «Добро пожаловать в Москву». Распутав гарнитуру и надвинув капюшон на нос, я включил телефон и поудобнее втёрся в фанерное сиденье. Что мы тут имеем? Восемь пропущенных: три от Тины, четыре из дома, и один ... от Алочки. Прикольно! Это когда же и зачем мы успели поменяться номерами? Ладно, это не главное. Главное – дома от меня чего-то очень хотели. А я очень хотел домой.